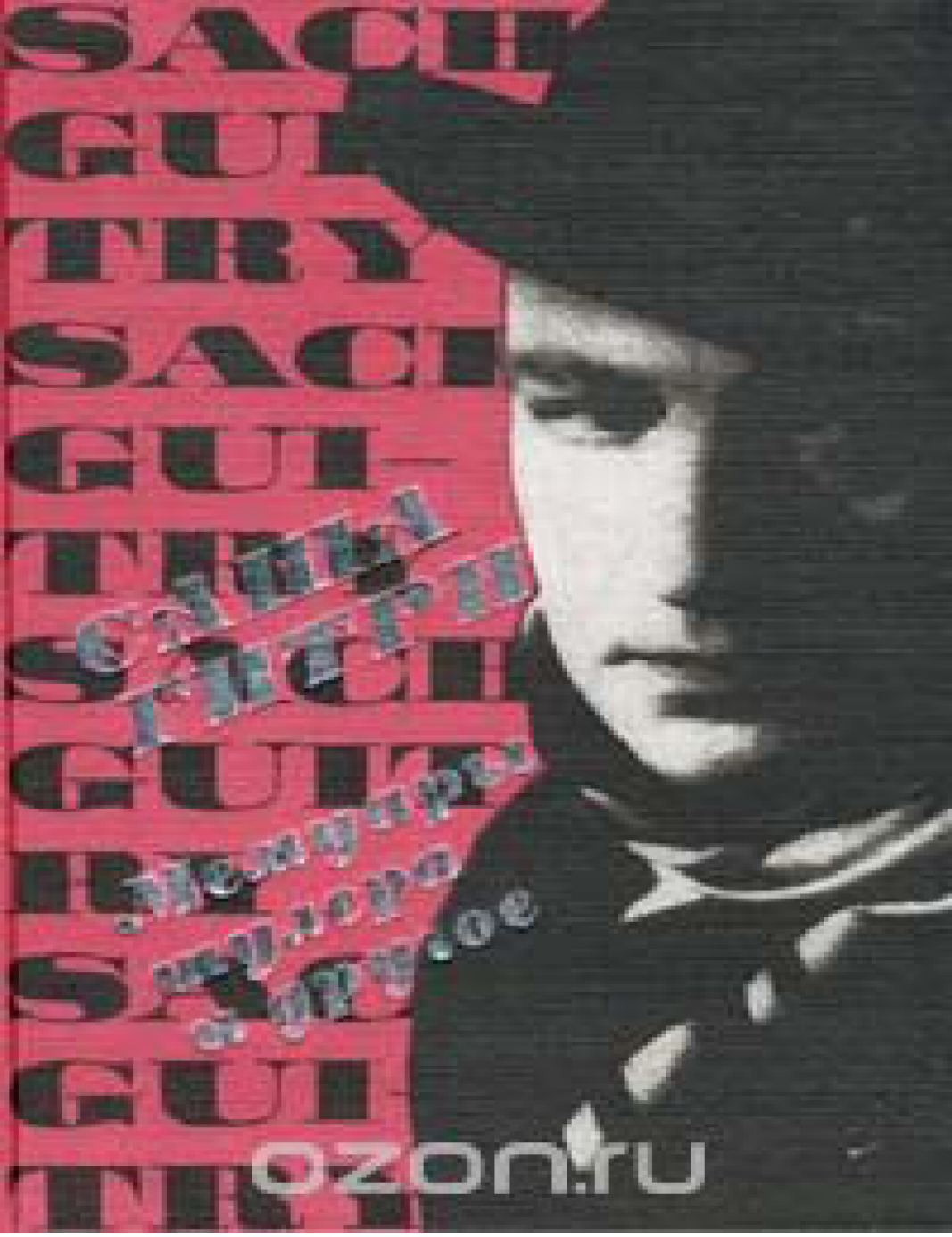

SACH
GUI
TRY
SACH
GUI-
TRY
SACH
GUI-
TRY
SACH
GUI-
TRY
Сачи Гитри
ozon.ru

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Сашá Гитри (1885—1957) — легенда французского театра и кино первой половины XX века. Драматург, актер, режиссер, прозаик, художник — он был некоронованным Королем Больших бульваров. Его любили за блистательный юмор, проницательность, тонкий психологизм и житейскую мудрость, лишенную назидательности. Его пьесы, а их около 120, как и его проза, написаны мастером изящной словесности; легко с чисто парижской элегантностью.

Здесь представлен самый известный его роман «Мемуары шулера», проиллюстрированный рисунками Саша Гитри.

- Сашá Гитри
  - ○
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
  - Глава шестая
  - Глава седьмая
  - Глава восьмая
  - Глава девятая
  - Глава десятая
  - Глава последняя
  - МОРАЛЬ
- notes
  - 1

Сашá Гитри
Мемуары шулера
(рисунки автора)

Одному из моих наилучших друзей — наугад.

Глава первая
Тортизамбер

Я появился на свет 28 апреля 1882 года в Тортизамбере, небольшой, довольно живописной деревушке департамента Кальвадос, ее колокольня видна слева, если ехать из Ливаро в сторону Троарна.

Родители мои держали бакалейную лавку, которая приносила им, год больше, год меньше, в среднем тысяч пять франков дохода.

Семейство у нас было большое. От первой супружеской постели у матушки двое деток осталось. А с нашим батюшкой она еще сыночка и четырех дочек прижила. У папаши была матушка, у мамочки, как положено, тоже родитель имелся — короче, вы уж извините за выражение, тут они были квиты. Вдобавок к тому у нас в доме еще глухонемой дядюшка проживал.

Короче, за стол мы садились целой дюжиной.

В тот злосчастный день на обед у нас были грибы, вот из-за них-то мне и суждено было коротать дни круглым сиротою.

Я навсегда остался сиротой, один на всем свете, благодаря тому, что стащил из кассы восемь сантимов, чтобы купить себе шарики для игры, и отец в порыве благородного негодования воскликнул:

— Ах, так ты воруешь, значит, останешься нынче без грибов!

Эти роковые дары природы собрал наш глухонемой дядюшка — и в тот вечер в доме появилось одиннадцать покойников.

Те, кому не доводилось разом видеть одиннадцать усопших родственников, вряд ли смогут себе представить, как это много, когда их без одного дюжина.

Просто куда ни глянь, непременно на покойника наткнешься.

Поведать вам, как безутешна была моя скорбь?..

Да нет, пожалуй, лучше уж правду скажу. В ту пору мне было всего двенадцать, и согласитесь, горя оказалось несколько многовато для столь юного возраста. Да-да, я тогда еще не дорос до скорби таких исполинских масштабов — и, не имея жизненного опыта, чтобы полностью оценить весь кошмар происшедшего, по правде сказать, чувствовал одно только возмущение, и ничего больше.

Можно оплакивать мать… или отца… или, на худой конец, брата… Но как, научите, оплакивать одиннадцать родственников разом?! Просто не знаешь, над кем слезу пролить. Конечно, было бы неуместно говорить тут о трудностях выбора — и все же именно это было бы ближе всего к истине. Моя скорбь все время переключалась с одного усопшего на другого, и мне было недосуг как следует оплакать каждого сородича по отдельности.

Доктор Лавиньяк, призванный после полудня, многие часы не жалея сил и со знанием дела пытался спасти пострадавших, но — увы! — старания его оказались тщетны. Семейство мое неумолимо угасало.

Господин кюре, который обедал в тот день у маркиза де Бовуар, прибыл на велосипеде к четырем пополудни. И не зря, очень скоро его услуги оказались более чем кстати!

Герой этой книги

К пяти вечера к нам уже сбежалась вся деревушка. Папаша Руссо, вот уже двадцать лет парализованный, велел принести себя к нам и, слепой как крот, расталкивал других, повторяя:

— Дайте же мне-то взглянуть! Хоть одним глазочком!

Сбежавшиеся соседи гоняли меня из одной комнаты в

другую, и не зная, где бы укрыться, я в страхе забился под прилавок нашей бакалейной лавки. Оттуда было слышно все, что говорили, о чем шептались в доме.

О первых кончинах оповестили чинно и не без печали, как и положено в случаях столь прискорбного свойства. Однако начиная с четвертого усопшего объявления делались все короче и короче, а потом уж и вовсе совсем лаконичными.

— Еще один преставился!

И все эти смиренные, привыкшие к невзгодам селяне, увидев разом столько покойников, будто вдруг духом воспрянули. Должно быть, им казалось, что отныне каждому из них достанется чуточку побольше воздуха, чтобы вздохнуть полной грудью.

И до моих ушей донесся незабываемый диалог:

— А бабуля?

— Пока дышит. Но это минут на двадцать от силы, больше не протянет.

— А сколько их всего-то осталось?

— Да не меньше четырех.

Глухонемой дядюшка, он же убийца всего семейства, умер последним, зато в ужасных страданиях.

Доктор

Господин кюре

— Это кто ж из них так орет-то?

— Да тот, что немой, — был ответ.

Когда к семи часам все было кончено, я выбрался из своего убежища и оказался нос к носу с замотанным доктором, который в полном изнеможении утирал со лба пот.

Он поглядел на меня, узнал и, не поверив глазам, пробормотал:

— Гк… Ты еще тут?

И в голосе его прозвучало неподдельное удивление — без всякой укоризны.

Хотя он тут же добавил:

— А ты-то как здесь оказался?

И в этой фразе прозвучало не столько: «Как ты оказался под этим прилавком?», а скорее: «Как, ты все еще на этом свете?»

В сущности, он никак не мог понять, по какому-такому праву я не умер вместе со всем своим семейством?

Потом поинтересовался:

— А у тебя ничего не болит?

— Да нет, вроде ничего.

— А как это тебе удалось?

И теперь уже он глядел на меня, будто я какой-то оборотень или дьявол во плоти. Двенадцатилетний парнишка, который безнаказанно сожрал ядовитые грибы и пережил всех своих сородичей, — это явно заинтриговало его не на шутку! Какие бескрайние возможности для медицинских экспериментов! И поскольку я почувствовал, как мысленно он уже копался в моих внутренностях, пришлось признаться, как все было на самом деле:

— Да я их не ел.

— Почему?

И это «почему», столь поспешно сорвавшееся с уст эскулапа, признаться, потрясло меня до глубины души. Профессиональная привычка, согласен, но клянусь, он произнес это с неприкрытой укоризной.

И поскольку он все бормотал и бормотал, почему да почему, я предпочел сознаться в своем тяжком проступке, за который и был наказан, оставшись без грибов.

Тогда, изобразив подобие улыбки, он подмигнул мне, будто говоря:

— А ты, однако, парень не промах!

История быстро обошла всю деревушку, и предоставляю читателям догадаться, какие комментарии она породила.

В день похорон, сопровождая в последний путь одиннадцать сородичей, я, скорбно опустив голову, с сухими глазами, все думал: неужели оттого, что мне чудом удалось остаться в живых, меня хоть отчасти считают убийцей всей этой тьмы родственников?.. А за спиной у меня то и дело слышался шепоток:

— А знаете, почему этот малец-то не помер?.. Да потому что на руку нечист!

Да, что греха таить, я, и вправду, остался в живых только благодаря тому, что своровал. Но согласитесь, делать отсюда вывод, будто все остальные отдали концы только потому, что были честными, это уж все-таки перебор…

И тем вечером, засыпая один в опустевшем доме, я пришел к выводам насчет воровства и справедливости, которые, возможно,

покажутся вам несколько неожиданными, однако их ничуть не поколебал мой дальнейший сорокалетний опыт.

Глава вторая
Флер

Приютил меня в моем сиротстве один дальний родственник, мэтр Морло, о чьем существовании я даже не подозревал прежде. Он был нотариусом в городишке под названием Флер и взял меня к себе, дабы избавить от житейских забот. После продажи бакалейной лавки и оплаты одиннадцати похорон я стал обладателем восемнадцати тысяч франков.

Мне эта сумма казалась баснословной. А ему, должно быть, упавшей с небес удачей.

Он заверил меня, что вложил ее в свое дело и вернет сторицей, едва я достигну совершеннолетия.

Но в дальнейшем мне так и не суждено было снова увидеть эти деньги — как, впрочем, и самого родственника тоже.

Поначалу у него вроде было намерение взять меня на службу к себе в контору. Он даже пару раз заикнулся об этом. Но быстро отказался от своей затеи, ибо мальчонкой я оказался необразованным и без всяких манер. Вернее сказать, жена его отговорила.

У нее на этот счет своя задумка имелась: держать меня в доме на роли нахлебника, дабы с полным правом попрекать куском хлеба. И почти с первого дня она не скрывала своего отвращения, видя меня за столом.

Когда она говорила, что я плохо ем, на самом деле это означало, что я ем слишком много. Когда подавали блюдо, она не спрашивала:

— Хочешь еще?

А тоном, не терпящим возражений, изрекала:

— Ты ведь уже сыт, не так ли?

И этот вопрос звучал как приказ.

Невысокого роста, тощая брюнетка, мадам Морло имела ассиметричное лицо и брови, напоминавшие пару сошедшихся нос к носу, насмерть переругавшихся гусениц. Нос, неизменно вздернутый, будто все время к чему-то принюхивался, был явно недоволен от чересчур близкого соседства со ртом. И будто всего этого было мало, вдобавок природа наградила ее усиками, и еще она носила пенсне. Короче, мадам была законченной дурнушкой, этаким совершенством уродства, где ни одна черта не нарушала общей гармонии.

Она возненавидела меня с первого взгляда. И я сразу же ответил ей взаимностью.

А вот к нему я поначалу отнесся куда менее подозрительно, сам не знаю, почему — должно быть, вообразил, будто за неизменно дурным расположением духа непременно кроется чувствительная душа. Какое заблуждение. Он был самым обыкновенным животным, и все, что было написано у него на физиономии, вполне отражало его истинную сущность — хотя описать его лицо довольно затруднительно. Ну как, скажите, описать пустырь? Его цвет, серый, сплошная грязь бесцветная… Его бакенбарды: два пучка травы иссохшей. Его глаза: две ямы. Канавы на низком лбу и колдобины на щеках.

Кроме того, у меня было подозрение, будто он спал с горничной. Еще одно заблуждение. Этим он занимался с кухаркой. По воскресеньям, во время вечерних богослужений.

Мэтр Морло

За мою бурную жизнь мне выпало встретить немало злых и низких людей — но хуже этой парочки так и не привелось… И если я сужу их так строго, то вовсе не из-за того зла, какое они могли причинить — да и откуда мне было знать, что они замышляют — а потому, что был уверен: они способны на самые страшные злодеяния. Мне могут возразить: но ведь они же ничего

такого не сделали. Может, и не сделали. Но уверен: как можно стать убийцей, не родившись человеком с преступной душой, так же можно иметь душу убийцы, так и не лишив никого жизни. Клянусь, порой я видел, как у них в глазах мелькало желание увидеть меня в гробу. Конечно, это могло происходить помимо их воли, более того, готов согласиться, возможно, они и сами не отдавали себе отчета в этих своих кровожадных вожделениях — чего не бывает. Просто не осознавали, о чем мечтали, вот и все. Но руку даю на отсечение, в глубине души они действительно желали моей смерти, уж мне ли не знать, ведь только я один видел их застывшие, как у мороженой рыбы, глаза.

Однажды вечером, сидя за столом, я вдруг почувствовал, что мне на роду написано стать малолеткой-великомучеником, и если бы не мысль, что так я исполню их заветное желание, я бы в тот же вечер бросился под поезд. И это не пустые слова, ведь железная дорога проходила прямо по краю их сада, и пронзительные свистки локомотивов, эти спасительные предупреждения, которые буквально сверлили нам уши, уже начали было действовать на меня, как некий душераздирающий призыв.

В ту ночь, съежившись, свернувшись калачиком в своей кровати, стуча зубами и крепко сжав кулачки, плача от ярости и в отчаяньи от собственных слез, я раз и навсегда свел счеты со своей совестью.

Ладно, пусть я украл эти злополучные восемь сантимов, что было то было… но зачем же то и дело напоминать мне о моем проступке?! Считая, что «кто стащил яичко, украдет и бричку», они изо всех сил делали вид, будто за мной глаз да глаз нужен.

«Ты бы последил за мальчишкой-то!»

Я только это и слышал. Прямо с души воротило.

С другой стороны, я прекрасно понимал, что они никогда не смогут забыть о моем проступке — даже если предположить на минутку, будто им бы этого захотелось — ведь о массовом отходе в лучший мир всего моего многочисленного семейства без конца напоминали им все, кто бы ни заходил к ним в дом.

«Расскажите же нам эту жуткую историю с грибами…»

И вскорости неизменно возникал вопрос:

— А как же случилось, что мальчонка-то в живых остался?

Скрыть правду было бы заманчиво — но невозможно, ибо она уже всем была давно известна, да и речь-то об этом заводили с одной-единственной целью — выудить у хозяев признание, что к ним в дом, в их семейство затесался малолетний воришка.

Нет, это уж было чересчур.

Да, не отрицаю, стащил я эти восемь сантимов, — но не им было меня укорять, не им было стыдиться моего проступка — ведь кто-кто, а они-то уже тогда прекрасно знали, что навечно присвоили мои кровные восемнадцать тысяч франков…

И в тот вечер я принял важнейшее для себя решение, даже два: уйти и никогда не требовать у них свои восемнадцать тысяч

франков. Пусть знают, у нас в роду и другие воришки водятся, покруче меня!

Ах, легко сказать, уйти.
Но куда податься?
Да куда глаза глядят,
Только б не остаться.

Стоило мне принять это решение, как я стал ненавидеть их совершенно по-новому — почти радостно и получая удовольствие от самых малейших подробностей. Я получал от этого какое-то прямо-таки сладострастное наслаждение. От души забавлялся, с отвращением вглядываясь в их лица, прислушиваясь к голосам, рассматривая руки, одежду. Пинал ногами башмаки, когда в них не было их ног, тузил кулаками шляпы, когда они отдыхали от их голов — и пока они искали предлог, как бы выставить меня за дверь, я только и поджидал удобного случая смыться от них подальше и навсегда…

Случай представился нежданно-негаданно.

На четвертой странице местной газеты, если мне не изменяет память, «Ле Пти Лексовьен», некий месье Пепен, владелец одного ресторана в Кане, предлагал место посыльного в выражениях кратких, но вполне точных. Претенденту предлагали кров, пищу и ни копейки денег в первые три месяца службы. Как говорится, хочешь бери, не хочешь, иди.

Для меня вопрос был ясен: надо брать.

Эту страничку, вырванную из газеты, выходящей в Лизье, я обнаружил в одном укромном уголке, название которого не вижу нужды уточнять. Она была сложена таким манером, будто какая-то добрая фея непременно хотела обратить чье-то внимание на заманчивое предложение месье Пепена. Я тут же схватил листок и, как он был сложен, водрузил на круглый столик в гостиной, рядышком с рабочей шкатулкой мадам Морло.

Сутки спустя я снова нашел его в том же укромном уголочке, о каком упоминал выше. Я прошу прощенья — нет, не за то, что вновь оказался там, а за то, что снова обнаружил там листок. Я опять взял его и на сей раз отнес прямо в спальню мадам Морло — благо знал, что в тот час ее там не было.

Поднявшись в одиннадцать к себе спать, я не слишком удивился, найдя на свое ночном столике все ту же неугомонную страничку-путешественницу из местной газеты.

И вот тут-то до меня, наконец, дошло, что доброй феей был не кто иная, как ведьма по имени мадам Морло.

Стало быть, наши мнения сходились. И неделю спустя, с тремястами франками в кармане, я оказался в Кане посыльным в ресторане месье Пепена.

Глава третья
Кан

Хоть кормили меня исключительно подогретыми потрошками, в сущности, если разобраться, я пережил там немало счастливых часов.

Постепенно во мне исчезал тот маленький мужичок, недоверчивый тяжелодум, каким я был прежде. И жизнь с каждым днем казалась мне занятием все более и более забавным. Меня уже не печалил тот факт, что я один как перст на всем белом свете. Напротив, теперь я даже видел в этом вполне приятные стороны. Единоличный хозяин своей судьбы, я мог жить, как мне заблагорассудится, никому не отдавая отчета в своих поступках и никогда более не слушая попреков, что, мол, однажды стащил восемь сантимов, чтобы купить себе те самые шарики.

Это в Кане мне впервые довелось увидеть тех, кого принято называть «богатенькими». И они с первого взгляда произвели на меня самое приятное впечатление. Впрочем, будем откровенны, куда более, чем просто благоприятное — решающее.

Стать однажды, как они!

Вот о чем теперь мечтал я.

Позже это стало явью.

Проездом из Лондона в Париж, по пути в Динар, или в Сен-Мало, парочками, по трое, а иногда и компаниями побольше, я видел, как они довольны жизнью и как хорошо им живется. Всегда в погоне за удовольствиями или какими-нибудь мелкими радостями, готовые без колебаний сделать крюк в три десятка километров, чтобы отведать какое-нибудь знаменитое рагу или прославленный омлет, они обладали независимостью повадок, непринужденностью манер — и той заразительной, почти повелительной жизнерадостностью, от которой разгорается аппетит и которая, стоит этим счастливчикам оказаться рядом, способна вдохнуть силы в людей, страдающих слабоволием или природной робостью.

Знаю, знаю, про них говорят, будто своей шикарной жизнью они обделяют бедный люд — но лично я совсем-совсем другого мнения и хотел бы пояснить свою точку зрения.

Есть люди, которых называют «богатенькими» — вслепую — это утверждение обычно основано лишь на том, что видно глазу. И название «богатый» в подобных случаях говорит только о тех деньгах, которые они тратят — и от которых прочие, если разобраться, получают только выгоду.

Есть другие, которые *«и в самом деле богаты»*. Иными словами, именно *«они»* и есть настоящие толстосумы, ведь все деньги, какими они владеют, они «*бают под себя»,* копят *«только для себя»*, и так из года в год — в то время как денежки первых утекают у тех сквозь пальцы.

И между ними и теми, кто, как, к примеру, чета Морло, рассудительно откладывают сантим за сантимом, на черный день, чтобы пожить на них попозже, потихоньку проедать всю оставшуюся жизнь, разница огромного масштаба. Нет, я вовсе не осуждаю их предусмотрительности, просто констатирую, что в предвкушении времен, чья продолжительность неизвестна, ибо зависит от случая, они готовы отказывать себе во всем долгих тридцать лет!

Впрочем, нет, они отказывают себе вовсе не во всем, это я ошибся, это я польстил им, ведь они ни за что не откажутся от своих денег, те всегда при них. И если сердце у них и разрывается на части, то разве что между тщеславием и завистью. Так что случись им пойти на непредвиденное транжирство, то только ради удовлетворения этих двух слабостей.

И таких-то людей называют богатыми!

Нет уж, богатство — это совсем другое.

Быть богатым, повторяю — это не иметь деньги, а уметь их тратить.

Деньги обретают ценность только тогда, когда вы вытаскиваете их из кармана. И теряют ее, едва возвращаются назад. Ну, какую, скажите, радость могут принести вам ваши деньги, пока они при вас?! Чтобы пятифранковая монетка стоила сто сантимов, надо ее потратить, в противном случае ее ценность не более чем фикция.

Серебро, металл, из которого монеты делают, — что может быть волшебней?! За какую-нибудь серебряную супница вам могут дать целую кучу золота! Но сколько стоит золотой слиточек? Немного денег, звонкого серебра, вот и все…

Когда богатый человек узнает, что сделка, которую он только что заключил, принесет ему двести тысяч франков, то, на мой взгляд, барыш не туда попал, коли он тут же, в зависимости от вкуса, не узрел в этих деньгах драгоценное украшение для любимой, картину, что давно мечтал приобрести себе в дом, или, скажем, новый автомобиль.

Кроме того, по моему глубокому убеждению, не будь на земле богатых-пребогатых, там было бы куда больше бедных-пребедных.

И, как говорит моя консьержка, будь я в правительстве, то без всякого снисхождения сдирал бы, как с притворных нищих,

налоги с тех, кто не тратит своих доходов.

Я знаю людей, которые имеют семьсот-восемьсот тысяч ливров ренты и не тратят даже четверти своих доходов. Я считаю их прежде всего придурками, и еще немного жуликами. Чек, не обеспеченный покрытием, есть банковская операция, предусмотренная уголовным кодексом, и по справедливости жестоко карается законом. Я охотно выступил бы за столь же жестокую кару в отношении лиц, владеющих капиталом, но не выписывающих никаких чеков. Человек, который копит деньги, нарушает их нормальное обращение и тем самым мешает естественному течению жизни. А по какому-такому праву?!

После такой декларации принципов спешу добавить, что через пару месяцев мне стукнет пятьдесят три, что, начав почти с нуля, я если и не взмыл слишком высоко, то прыгнул довольно далеко, что ни дня не прожил иначе, как за чужой счет — нажив таким манером не один миллиончик — и что, не испытав ни горечи, ни сожалений, теперь сижу без гроша за душой.

Итак, мне показалось, что правдивый рассказ о жизни авантюриста, какую я вел более трех десятков лет, мог бы развлечь и просветить тех немногих, кто еще способен с улыбкой оценить искренность. Вот почему я и пишу эти строки.

Вернее сказать, царапаю слово за слово, без всякого насилия над собой и исключительно для собственного удовольствия, посиживая на освещенной солнцем террасе скромного бистро, что на углу улицы Винь и улицы Буленвилье, кстати, прямо напротив очаровательного особнячка, который я построил себе в 1923 году — и потерял в 29-м из-за бубновой восьмерки.

Но не стоит забегать вперед.

Вернемся-ка лучше в Кан.

Глава четвертая
Трувиль

Да, вернемся в Кан — который я покинул год спустя в июне месяце, чтобы обосноваться в Трувиле, где поступил грумом в гостиницу «Отель де Пари».

(Довиля в ту пору уже не существовало, однако вскорости ему суждено было возродиться вновь.)

Я затянул себя в тесный, зеленого сукна мундирчик, по которому, от талии к плечам, в две шеренги карабкались крошечные пуговки, а на голове, щегольски сдвинув на одно ухо, носил этакую круглую пилотку, напоминающую головку сыра «ливаро». Я очень гордился, что послужил моделью карикатуристу Каран д'Ашу. Вы ведь помните нарисованного им маленького грума, который накануне оповещал на первой странице газеты о том, какая карикатура ждет читателей в завтрашнем номере? Этот маленький грум — я. И думаю, у меня есть полное право считать себя основателем этого жанра.

Тут надо бы кое-что пояснить.

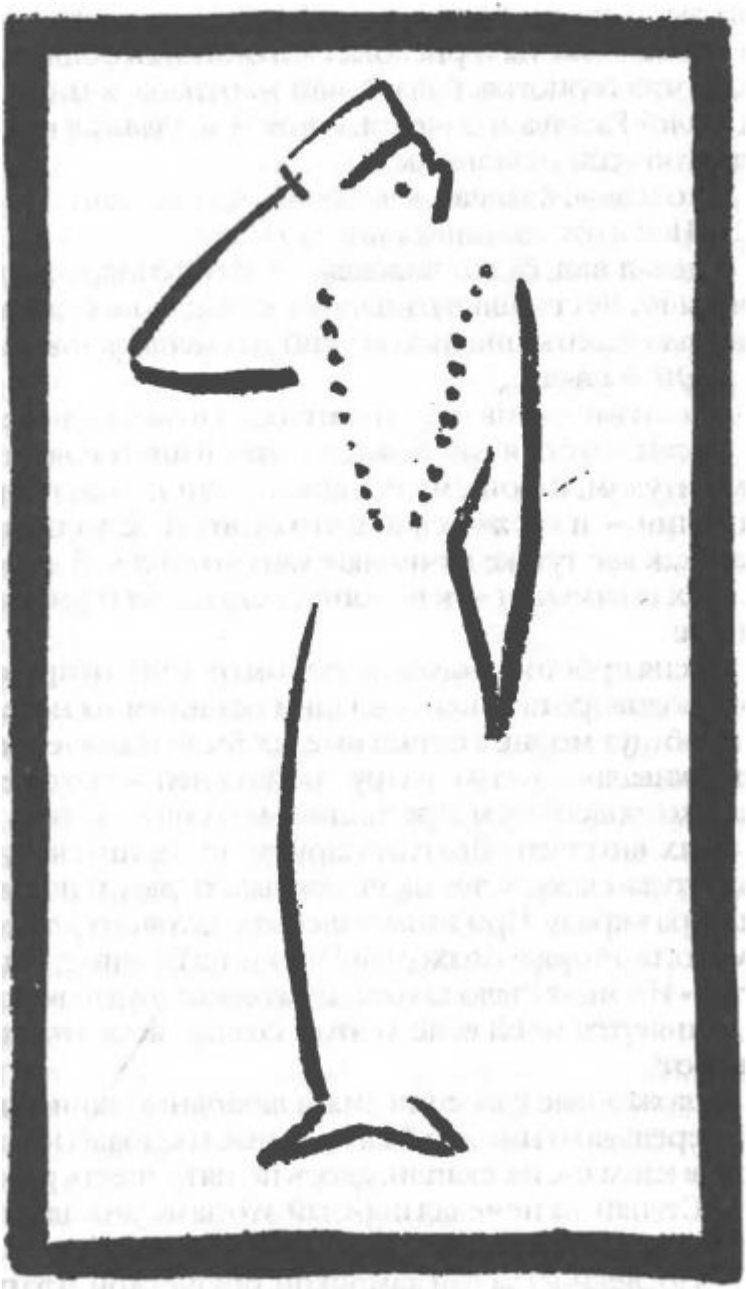
Конечно, без рассыльных, всякого рода мальчиков на побегушках не обходилась в ту пору ни одна приличная французская гостиница. Однако поручения такого рода выполняли обычно служащие, совмещающие множество различных обязанностей. Поневоле вынужденные заниматься столь малопочтенными делишками, они не всегда выглядели так привлекательно, как положено выглядеть груму. Грумы — разменная монета портье, этакие живчики. Надобно быть безбородым юнцом, чтобы сквознячком пролетать через двойные двери. Более того, лучше даже и вообще-то лица не иметь, чтоб не узнавали — грум и грум. Надо быть просто этаким мундирчиком, в распоряжении всех и вся, готовым услужить любому — опрометью несясь от одного к другому, в пару минут преодолевая — вверх-вниз, вниз-вверх — лестницы шестиэтажного отеля — никогда на месте и всегда там, где нужен!

Успеть поднять зонтик, прежде чем он коснется земли, поднести зажженную спичку в тот момент, и ни секундой позже, когда курильщику приспичит затянуться, не вытаскивая часов, сказать кому-то точное время — в общем, я виртуозно проделывал все эти маленькие трюки, сам развлекаясь от души. Для меня это была игра, и утехам моим конца-края не было!

Однажды вечером граф Греффюль, которому я, уж не припомню, на какой вопрос, ответил: «Слушаюсь, месье», сказал

мне: «Пожалуйста, называй меня „господин граф“».

Уже назавтра я всех их называл не иначе, как «господа графья»!



Грум

Слов нет, изобретение когерера, вольтметра или громоотвода принесли человечеству неизмеримо больше пользы — но, согласитесь, и моя находка была не так уж плоха. Если ты и рисковал кого-нибудь обидеть, то разве что герцогов, князей или маркизов, а много ли их было? Раз-два и обчелся. Словом, я ублажал графов и льстил всем остальным.

И то и дело слышал, как про меня говорили:

— Нет, этот парнишка просто чудо!

Я делал вид, будто краснею от смущения, и взял за привычку не спрашивать чаевых, которая, похоже, действовала безотказно, ибо всякий раз меня окликали:

— Эй, малыш…

А коли вас окликают, значит дадут вдвое больше.

Месяц спустя я уже каждого знал в лицо и величал тем титулом, какой ему полагался, или по настоящей фамилии — и тут же усвоил, что стоит тебе запомнить всех, как все тут же начинают узнавать тебя. Я выучил их всех по именам — и все они стали величать меня по имени!

У меня просто голова шла кругом от этого непрерывного водоворота клиентов. Одни остаются на неделю, те пробудут месяц, а остальные, их было больше всего, задерживались всего на пару-тройку дней — похоже, не столько людей посмотреть, сколько себя показать.

Этих впустить. Другим наружу не терпится. Туда-сюда, туда-сюда… Случалось открывать двери по пятьдесят раз кряду. При этом я шепотом, только для себя самого, повторял: «Выходите! Входите! Входите! Выходите!..» И у меня было такое впечатление, будто все они подчиняются моей воле, и это я создаю весь этот круговорот!

А сложенные вдвое письма, а любовные записочки, что передавали мне эти благородные господа! Порой у меня в кармане их скапливалось по пять-шесть разом.

— Ступай-ка немедля передай это даме, знаешь, той, что в красной шляпке…

— Последи-ка за той дамочкой, брюнеткой, что разговаривает у кассы с пожилым господином, и когда она будет одна…

Ах, стоило мне только захотеть — или ошибиться невольно, сколько драм, сколько разочарований!

Однако подобного промаха я не совершил бы ни за какие блага на свете — слишком уж нравилось мне это занятие! Быть участником амурных историй, посредником в любовных тайнах, знать, что ты единственный посвященный — ах, это же волнительней не придумаешь! Черт возьми, ведь хочешь не хочешь, а это ведь мне суждено было первым узнавать обо всем —

и господину, написавшему письмецо, лишь после меня становилось известно, сказала ли дама сердца «да» или «нет»…

Порой, конечно, не по злому умыслу, а просто из какого-то дьявольского лукавства, я не спешил сразу доставить ответ. Хранил для себя. Запрячешься куда-нибудь в темный уголок и смакуешь каждое словечко. Выходит, эта смазливая дамочка сказала «да»! Стало быть, она готова заняться с ним «этим», о чем просил ее господин. А то, о чем он ее просил, это, ясное дело, то самое занятие, то самое пресловутое развлечение, о котором только и разговору в комнате для прислуги, о котором говорится во всех этих записочках, у которого столько разных названий — одни приятно ласкают слух, другие определенней, но вызывают отвращение. И чтобы заниматься «этим», предаваться этому развлечению, они спрячутся от всех — в постели. Ах, как же я завидовал ему, этому счастливцу!

Ну когда же настанет мой черед?

Может быть, скоро.

Потом, взволнованный, весь красный от смущения, я шел к нему. Однако, поскольку я сгорал от ревности, мне доставляло удовольствие помариновать его еще немножко.

— Ну что? — не терпелось ему.

— Да понимаете… так уж получилось… в общем…

И я начинал тянуть резину, томить клиента:

— Значит, передал я этой даме письмецо…

— Короче, ну и что?..

— В общем, эта дама… как бы получше сказать… сразу будто даже ничего не заподозрила… открывает, значит, конвертик… читает себе, читает…

— Ну а дальше, дальше-то что?..

— А дальше… господи… этак с минуту на меня поглядела… и велела вам передать, что согласна!

— Что ж ты тянул, поганец ты этакий!

И пока он шарил в кармане в поисках чаевых, я угадывал в его глазах, что он уже видел ее голой — и мне тоже он казался без ничего!

А когда, двумя часами или пятью минутами позже, она семенила к нему в 37-й, 112-й или, на худой конец, в 310-й номер, я тоже спешил туда, приникнуть ухом к двери, а глазом к замочной скважине, дабы подглядеть, что они будут делать, и подслушать, что они будут говорить друг другу…

Глава пятая
Париж

После Трувиля был Париж — Париж, который мне суждено было тогда увидеть впервые.

По рекомендации влиятельного метрдотеля мне удалось без труда получить место грума в отеле «Скриб» — при условии, что снова вернусь к работе в Трувиле, как только там опять начнется курортный сезон.

Ах, Париж, Париж!

Должен признаться, он произвел на меня большое впечатление, хоть не скажу, чтобы очень благоприятное. Нет, на мой взгляд, чересчур уж там было людно. Или, вернее сказать, народу больно много, всякого-разного, прямо великое множество. Слишком много богатых, слишком много бедных, слишком много девиц на тротуарах, слишком много работяг и слишком много безработных. Слишком много величавости и убожества. Слишком сыро, когда дождь, слишком душно, когда жара, а как зима приходит, то зябко, не стерпеть.

Думаю, просто он оказался для меня слишком большим, слишком красивым, этот Париж. Мне понадобились многие недели, даже месяцы, пока я не проникся величием этого города — а чтобы по-настоящему поддаться его чарам, потребовался не один год.

В сущности, думаю, надо быть «оттуда», быть парижанином, чтобы льстить себя мыслью, будто знаешь этот город. А поскольку я уже больше не отношусь к их числу, то позвольте мне сказать:

— Я знаю его: я был парижанином!

Если бы меня вдруг сейчас спросили, что такое Париж, я бы не мешкая ответил:

— Столица Франции и самый прекрасный город в мире.

А потом, поразмыслив, добавил бы:

— И кое-что другое. Кое-что поважней.

И попытался бы пояснить свою мысль.

Я сказал бы:

— У каждого города есть сердце, и то, что зовется сердцем города, это место, куда приливает его кровь, где сильней всего бьется жизнь, где больше всего лихорадит, нечто вроде перекрестка, куда вроде бы стекаются все артерии. Однако чем отличается сердце Парижа, так это тем, что каждый помещает его туда, куда захочет. В Париже у каждого свой Париж Мой начинается у Триумфальной арки и кончается на площади

Республики — через Елисейские поля, улицу Руаяль и Большие бульвары. Справа его границей служит бульвар Оссманн, а слева река Сена. Пасси, Ла Вилетт, Гренель, Монмартр, о которых говорят, будто они парижские кварталы, для меня лишь небольшие городишки — каждый со своим обликом, обычаями, привычками, зачастую и со своим характерным выговором. Парнишка, рожденный в Гренеле, говорит совсем не так, как маленький уроженец квартала Менильмонтан. Если мой собственный Париж ограничен Сеной, так это потому, что на левом ее берегу волею судеб обосновались Политика, Правосудие, Просвещение, Тюрьмы и эти жуткие модные дома, где вас всячески ублажают — а все это не вызывает у меня особых симпатий. Палата депутатов, Дворец Правосудия, Институт, Сорбонна, Одеон, Пантеон и Ботанический сад — нет, право, среди всех этих заведений просто не вижу ни одного уголочка, который бы оставался там для меня. Конечно, у левого берега есть свое величие, и красота его монументов не подлежит никакому сомнению, однако это квартал серьезный, современные манеры ему не очень-то к лицу. Там всегда немного отдает древней Лютецией — и нигде так не чувствуешь себя парижанином, как в моем Париже, что я избрал для себя. То, что парижане называют между собой Парижем, не более чем двадцатая часть города — и число истинных парижан не превышает трех тысяч душ. Это с десяток ресторанных залов, это авеню дю Буа, Лесной проспект, по левую сторону, от одиннадцати до полудня, это ипподром от двух до пяти, это рю де ла Пэ, улица Мира, от пяти до шести, это улица Акаций, что справа, от шести до семи — это генеральные репетиции и премьеры спектаклей… Конечно, в сущности, ничего такого особенного, и в то же время, откровенно говоря, все это очень важно. Быть парижанином — это ни должность, ни состояние души, ни занятие, и в то же время — и то, и другое, и третье. Это уникально и бесценно, впрочем, это и не продается.

Те, кому не выпало им родиться, каждое утро ломают голову, что бы такое сделать, чтобы стать парижанином — и уж этим-то так и не суждено им стать! Ибо быть парижанином — это не зависит ни от воли, ни от состояния. Ни даже от личных достоинств. Это не поддающаяся описанию помесь изощренности ума, вкуса, снобизма, легкомыслия, отваги и полного отсутствия моральных принципов. Не следует докапываться до истины, почему ты парижанин — достаточно знать, почему другие не достойны этого звания. Испанец не может быть лондонцем, англичанин не может стать берлинцем — албанец же вполне может стать Парижанином. Ибо чтобы сделаться им, вовсе не

обязательно родиться в Париже — или даже родиться во Франции. Нужно совсем другое. Нужно, чтобы все приняли тебя за своего, и причем, без всяких разговоров. Есть в этом избрании нечто мистическое, этакое тайное соглашение или сговор. И вот вдруг в один прекрасный вечер тебя вдруг признают парижанином. Да, принимают в сообщество парижан, которые ненавидят друг друга, но не расстаются весь год, которые обмениваются женами, любовницами и друзьями, которые видят, как стареют другие, не замечая перемен в самих себе, которые составляют некую вселенную или, скажем, какую-то особую планету — со своими нравами и повадками, своими развлечениями и утехами, своими понятиями о чести и достоинстве, своими маниями и своими причудами… И весь этот разношерстый люд способен, когда потребуется, в мгновение забыть о распрях и стать заодно.

Если бы меня попросили дать совет человеку, только что избранному парижанином, я бы сказал ему следующее: «Тебя избрали? Прекрасно. Но теперь осторожно, не расслабляйся — не делай глупостей! Какая шляпа была на тебе в тот день, когда тебя избрали? Вот эта? Отлично. Надень-ка. Старая, говоришь? Какая разница. Все равно надень. На тебе был этот смешной галстук? Тем хуже, придется сохранить и его. Отныне ничто в тебе не должно меняться. Пожалуй, это важней всего остального. Закажи себе другую шляпу, точь-в-точь такую, как эта, закажи такой же галстук — сделай из себя модель для подражания — и не забывай брать пример с тех, кто служит такой моделью уже три десятка лет. Пусть отныне внешность твоя навсегда останется неизменной, ведь тебя должны узнавать издалека. Твой облик мало-помалу приспособится — дело года-двух, не больше. А как только он обретет надлежащий вид, этим уже займутся другие. Иными словами, сделают из вас карикатуру. И вам придется ей соответствовать. Это очень важно. Если тебя нарисовали сутулым, оставайся сутулым. Не толстей. Не худей. Главное, не сердить своих рисовальщиков! Иначе они больше не станут тебя изображать. А как же мода, скажешь ты? Вот тут-то должен сразу тебя предостеречь. Стань законодателем, если сможешь, но никогда не следуй моде. Ты не должен одеваться по моде. Истинный парижанин — это тот, кто отстает от нее на полтора десятка лет — или же опережает на полтора десятка дней. Вздумай ты следовать моде, и будешь выглядеть неисправимым провинциалом. Вот все, что можно посоветовать насчет фасада. С остальным будет немного посложней. Что касается твоей личной жизни, тут кое-что, конечно, должно просочиться. Но не повредит, если это кое-что будет несколько расплывчатым.

Хорошо, когда думают, будто ты женат, если ты холост и разведен, коли женат. Имена твоих любовниц могут стать достоянием гласности лишь после того, как ты уже с ними расстался. Тебе надобно производить впечатление человека, которому есть что скрывать, дабы вокруг тебя слагались легенды. Так, не повредит, если не будет единого мнения насчет размеров твоего состояния… А если тебе удастся посеять подозрения, будто Наполеон III был любовником твоей тетушки, то лучшего и желать невозможно. На намеки по этому поводу отвечай лишь загадочной улыбкой. Впрочем, возьми себе за принцип не признаваться никогда и ни в чем — тогда все, что будут про тебя говорить, рано или поздно сойдет за правду — и кончится тем, что ты и сам во все поверишь. В беседах будь оптимистичным, терпимым, парадоксальным и жестким. Если ты не лишен остроумия, будь свиреп и безжалостен. Любое „слово“ священно. Ты должен злословить против сестры, против жены, если потребуется — лишь бы острота оказалась по-настоящему удачной. Никто не вправе хранить остроту про себя. Бывают слова, что ранят до смерти. Что ж, тем хуже! Эти смертоносные слова по крайней мере дают жить тем, кто их произносит. Ведь быть парижанином, это кормит — и ты сможешь жить припеваючи. Более того, могу тебя заверить, что и умрешь ты тоже от этого — со своей допотопной шляпой на голове и неизменным галстуком вокруг шеи».

Кажется, господин де Талейран как-то заметил в 1812-м, что тот, кому не привелось жить в 1772-м, так и не познал всех приятностей существования. Так что не стоит удивляться, когда нынче говорят, будто тем, кто не жил в 1912-м, неведомы прелести жизни.

И у меня есть все основания подозревать, что и в 1972-м…

Короче, думаю, человеку всегда свойственно сожалеть о временах, когда ему было двадцать — особенно если в этом возрасте ему довелось жить в Париже!

И в доказательство своего утверждения заявляю, что, когда я служил посыльным в отеле «Скриб», Париж казался мне во сто тысяч крат веселей, чем сегодня — хотя, признаться, в те времена скучал я там смертельно и чувствовал себя ужасно не в своей тарелке.

Впрочем, на месте мне не сиделось. Месяц спустя я покинул отель «Скриб» и поступил в «Континенталь», который, на мой взгляд, был подальше от центра. А в январе, устав от гостиниц, нанялся в ресторан «Ларю». Потом стал посыльным в театре под названием «Водевиль», где — уж не знаю, по какому праву — впоследствии разместился один из кинотеатров. И три зимы

кряду, с 96-го по 99-й, так и сновал с места на место — пока, наконец, в один прекрасный день мой добрый гений не привел меня в Монако.

Трудно рассказать обо всех злоключениях, которые пришлось мне пережить за это время, однако есть одно, какое было бы просто непростительно обойти молчанием.

В бытность мою посыльным в ресторане «Ларю» я познакомился с посудомойщиком по имени Серж Абрамич. Полурусский-полурумын, этот человек обладал редким, прямо-таки дьявольским обаянием. Волнистые черные волосы, матовая кожа, пухлые губы — и глаза, чьи зрачки, казалось, дышали. Было видно, как они буквально расширялись в такт с биением сердца, а потом делались совсем крошечными. Он был евреем и выглядел скорее армянином, чем славянских кровей.

Не будучи человеком образованным и в обычном смысле слова благовоспитанным, он отличался куда большей деликатностью, чем остальные служащие ресторана. Кроме того, у него был какой-то особый музыкальный выговор, будто обволакивающий, настойчиво-убедительный, который искажал исконный смысл многих слов, придавая им странное ностальгическое обаяние. Я чувствовал, как все больше и больше к нему привязывался. Тем более, что он выказывал ко мне явное расположение, признаться, особенно для меня лестное, поскольку он не удостаивал им кого попало.

И все же какой-то внутренний голос все время нашептывал мне, что не стоит слишком поддаваться его чарам.

Каждый вечер мы вместе пешком поднимались на Монмартр, где оба жили. Молчаливый на службе, он сразу же делался разговорчивым, едва мы оказывались за дверьми заведения, вдали от нескромных ушей. Речи его в те времена были сумбурны, в них то и дело сквозили какие-то намеки и скрытые угрозы в адрес некоего человека, чье прибытие ожидалось со дня на день.

Если верить его словам, этот человек был виновен в бесчисленных злодеяниях.

Серж

В те дни сентябрь 1896-го уже перевалил за середину, а появления его он ждал где-то между 5-м и 8-м числом следующего месяца.

По мере того, как приближалась роковая дата, возбуждение его с каждым днем становилось все заметней, а угрозы все определенней.

Порой посреди безлюдной улицы он вдруг останавливался, хватал меня обеими руками за лацканы пиджака и, уставившись мне прямо в глаза, каким-то глухим голосом произносил:

— Пойми, есть на свете люди, которые должны исчезнуть!

Или:

— Преступления должны быть наказаны!

И добавлял:

— Так угодно Богу!

Я изо всех сил изображал, что полностью разделяю его убеждения, стараясь при этом держаться в стороне от его замыслов. И все же у меня было предчувствие, что в будущем мне еще придется противостоять влиянию, которому пытался подчинить меня этот человек.

Неожиданно, не предупредив меня ни словом, он перебрался в отель на улице Фонтен, где жил я.

3-го октября, около полуночи, у дверей ресторана «Ларю» появились двое, они едва переводили дыхание и хотели видеть Абрамича. Эти двое оказались русскими. Я провел их на кухню. Серж поговорил с ними в коридоре. Они вполголоса обменялись по-русски парой-тройкой слов, после чего ночные гости исчезли.

Двумя часами позже мы с Сержем уже сидели за столиком в дальнем уголке одного из пустынных кафе на улице Мартиров. После долгого молчания он вдруг произнес:

— Он прибывает шестого.

Потом, взяв меня за руку, добавил:

— Ах, если бы я только мог на тебя положиться!

Меня не волновало, доверяет он мне или нет, ибо теперь у меня уже не оставалось ни малейших сомнений: Серж отвел мне активную роль в операции, которая угрожает жизни таинственного гостя, чье появление ожидается шестого.

Надо было что-то ответить, но тут он сам спохватился:

— Ладно, завтра все узнаешь.

Назавтра все газеты объявили, что шестого октября в Париж прибывает царь Николай II.

В тот вечер я не стал дожидаться, пока Серж покончит с посудой, и ушел один, даже не попрощавшись — впрочем, твердо решив не возвращаться на другой день, ибо как раз днем раньше получил свое месячное жалованье.

Ах, что бы мне тогда первым делом не смыться из своей гостиницы?

В четыре утра в мою дверь постучали.

— Кто там?

— Это я, Серж. Отвори.

Попробуй-ка тут не открыть!

Он вошел, за ним двое русских.

С первых же слов я понял, что уже слишком много знаю, и со мной непременно случится беда, и к тому же без всякой задержки, решись я отказать им в помощи.

Вряд ли люди, замыслившие благое дело, расточали бы красноречие с таким пылом и с такой уверенностью!

К семи утра роли были распределены, сделка заключена. С помощью подставного русского полицейского, тоже анархиста, меня введут в здание министерства иностранных дел, которое как раз готовят, чтобы принять самодержца.

Я должен был изображать случайного рабочего, сопровождавшего троих ковровщиков из службы хранителей мебели, призванных на метр передвинуть ковер, на котором покоилось царское ложе, и моя миссия сводилась к тому, чтобы оставить под кроватью одну вещицу, размерами и весом не больше консервной банки из-под сардин. Я не подвергался никакому риску — ну ни малейшему — а вечером того же дня мне вручат пять тысяч франков.

До шестого мы не должны были даже словечком перемолвиться. А шестого, в шесть вечера, встретиться в отдельном зале ресторана «Ле Дуаян». Именно там-то мне и вручат ту самую вещицу.

Если кому-то захочется удостовериться в правдивости моих слов, пусть заглянут в газеты от 7 октября. Там они прочтут, что буквально в последнюю минуту было решено: царь Николай II остановится не в Орсейском дворце, а в посольстве России, на улице Гренель. Так бывшему особняку герцогини Эстрейской, построенному Коттом в 1713 году, суждено было на двое суток стать резиденцией российского императора. Кроме того, они прочитают там, что накануне, в одном из ресторанов на Елисейских полях, были арестованы трое мужчин, и у одного из них была обнаружена банка белого металла, чье содержимое не оставляло ни малейших сомнений касательно преступных намерений троицы.

Негоже хвастаться тем, что написал анонимное письмо. Я и не хвастаюсь. Впрочем, и не каюсь. Просто рассказываю, как было, вот и все.

Глава шестая
Монако

Монако покорил меня буквально с первой минуты.

Нет, я вовсе не считаю себя ни проницательней, ни тем более чувствительней всех прочих, и все же уверен, с самого начала постиг его смысл и проникся судьбой.

Нынче стало модным не любить Монако, его принято считать старомодным, слишком «довоенным», что ли. Однако это не мнение, а скорее указ. Существует порода людей, чье предназначение — я бы даже сказал, профессия, ведь это их хлеб насущный — указывать, что тот или иной писатель, тот или иной ресторан, тот или иной художник или те или иные места уже вышли из моды — тут же указывая вам, какого писателя *«надобно»* читать, каким художником *«следует»* восхищаться, какие места «*полагается*» посещать. Лоцманы последнего корабля, они указывают путь панургову стаду.

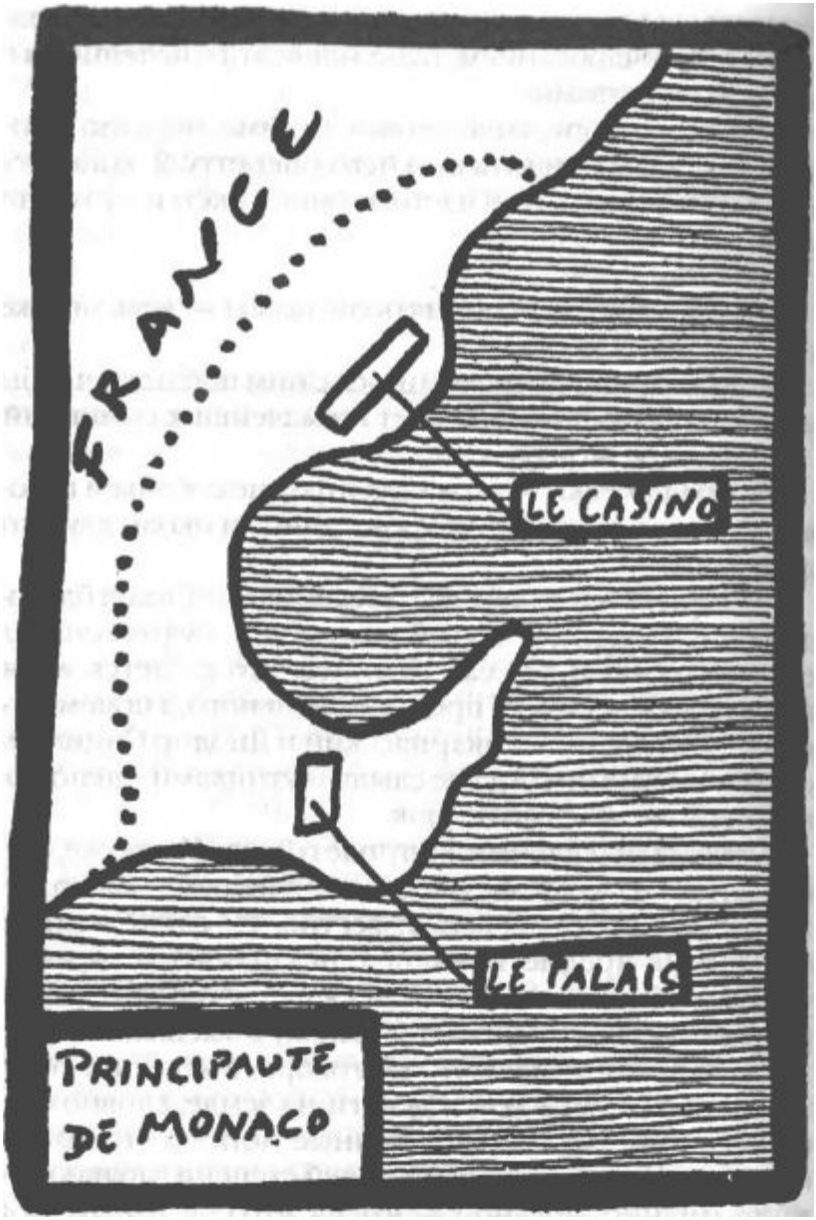
Итак, я прожил в Монако восемнадцать лет — с 1899-го по 1917-й год, иными словами, с семнадцати до тридцати пяти лет — и нет ничего, что было бы мне неизвестно об этом маленьком княжестве. Я знаю его историю и его легенды. Я от души аплодирую смыслу его существования, и если мне и посчастливилось насладиться его очарованием, то не менее того потешился я и его чудачествами.

Одному автору, запамятовал его имя, недавно пришло в голову сочинить про него оперетту. Я, конечно, не специалист по этой части, но мне кажется, это было ошибкой.

Монако?

Про него нельзя сочинять оперетты — ведь он уже сам сплошная оперетка!

И достаточно познакомиться с ним поближе, чтобы у вас не осталось на этот счет ни малейших сомнений.



Княжество Монако

Что такое Монако?

Географически — это скала в форме собачьей головы, не более шестисот метров в длину и около двухсот шириною.

Исторически — легенда, введенная в обиход благодаря Аполлодору, который утверждает, будто основал его не кто иной, как сам Геркулес. Что касается меня, не вижу в этом ничего

предосудительного, а почему бы и нет… Дионисий Галикарнасский и Диодор Сицилийский, которые никогда не слыли шутниками, слепо повторили тот же самый трюк.

Стало быть, склоним-ка лучше головы. Право же, всякие споры на эту тему заведут нас слишком далеко.

С другой стороны, всем известно, что единственные старинные предметы, какие с незапамятных времен удалось обнаружить на этой скале, это пара-тройка римских монет. Эту деталь я нахожу в высшей степени знаменательной. Ведь что ни говори, а монетки-то по траве не раскидывают, и деньги на земле, словно сор, не растут. Стало быть, найденные монеты кто-то там потерял… И мне кажется в высшей степени забавной — да-да, именно забавной — мысль, что еще в античной древности здесь, в Монако, уже теряли деньги.

Первое предзнаменование.

Надо ли говорить о сарацинах, об отказе от прав на Монако провансальских графов, о бесконечных баталиях, что то и дело разгорались вокруг этой скалы, которую отвоевывали то одни, то другие? Надо ли напоминать вам про гвельфов и гибеллинов?

О нет, ради всего святого, только не это!

Однако все-таки мне хотелось бы сказать пару слов о некоем Франсуа Гримальди, который 8 января 1297 года появился у ворот цитадели, построенной в 1215 году Фулько дель Кастелло.

Что касается этого благородного генуэзца, отдадим дань восхищения его бесцеремонности.

Он облачился в одежды монаха, и лишь благодаря этому маскараду перед ним открылись врата цитадели. Спрятавшийся в тени вооруженный отряд гвельфов поспешил за ним следом, проник в крепость и перерезал глотки всем до единого, кто имел несчастье там оказаться.

Согласен, манеры довольно жестокие, но что было, то было, и в тот же самый день, 8 января 1297 года, Франсуа Гримальди основал в Монако династию, которой суждено было впоследствии стать самой древней династией Европы.

И чем, интересно, будет теперь заниматься на этой своей скале Гримальди?

Просто защищать ее и все?

Ну уж нет. Он станет задерживать иностранные корабли, которые будут проплывать поблизости.

Ах, неужто грабить?

Ну зачем же так сразу, скажем, он будет предлагать им, может, в несколько настойчивой форме, внести вклад в благосостояние своих подданных.

Неплохая идея, не так ли? Второе предзнаменование.

Вышеуказанный князь послужил примером для всех своих потомков и наследников. С тех средневековых времен нравы заметно смягчились. Теперь яхтам, оказавшимся в водах княжества, предлагают остановиться без единого выстрела, и шикарные сеньоры, увешанные золотыми украшениями и изображающие из себя бывалых капитанов, подчиняются по доброй воле и без всякого принуждения вносят свой вклад в процветание крошечной страны.

Впрочем, династия сохранила почтение ко всем традициям, унаследованным от предков, ведь, памятуя, что в 1304-м Рэнье Гримальди носил титул адмирала Франции, разве не представил нынешний князь свою шпагу на службу Франции в 1914-м?

Да, это настоящая оперетка, иначе не скажешь!

Вы только поглядите на это суверенное княжество, один город и одна деревушка, на эту страну, которая не существует, потому что у нее и имени-то нету!

Ведь Монако, если разобраться, всего лишь название деревушки. А Монте-Карло — название города. И как же тогда, спрашивается, прикажете величать всю страну?

Когда вы там, вы находитесь вовсе не в Монако, как могли бы быть во Франции, в Италии или, скажем, в Норвегии. Нет, вы будете в Монако, как могли бы быть в Каркасоне, Памплоне или в Константине. Это княжество — но не страна.

А я — я по-настоящему люблю этот город и эту деревушку, которые представляют собой две соседствующие противоположности.

Ибо если деревушка стара как мир, город, напротив, современней не придумаешь, если деревушка — более монакской не придумаешь, то город — совершенный космополит. Всякий иностранец может тешить себя мыслью, что он там совершенно у себя дома. Там можно встретить англичан, русских, кубинцев — как, впрочем, и в любом другом городе мира — но что позволяет им чувствовать себя там как дома более, чем где бы то ни было еще, так это то, что там, в Монте-Карло, с трудом можно найти хотя бы одного монегаска, коренного жителя Монако. Это не иностранный город — этот город для иностранцев.

А где же тогда обитают и чем занимаются коренные монегаски?

Да все как один в казино, крупье они там.

В Монако крупье не служат, ими рождаются. Это такая наследственная должность, вроде нагрузки. Так уж случилось, что каждый коренной уроженец Монако, едва появившись на свет, находит у себя в колыбельке черную лопаточку крупье.

Однако прошу также заметить, что если вам не удастся встретить ни одного монегаска в Монте-Карло, то и в других местах его тоже не увидишь. Ни в Турции, ни в Бельгии, ни в Египте не наткнешься ни на одного коренного уроженца Монако. Их нет нигде.

Да и откуда бы им там быть: их ведь всего-то двенадцать тысяч, как ни считай!

Вычтем отсюда детей, женщин и стариков. Пусть будет три тысячи детишек, шесть тысяч женщин и, скажем, от тысячи до тысячи двухсот стариков — остается тысячи две крупье. Согласитесь, это близко к истине.

Ибо, напоминаю, их всего двенадцать тысяч, коренных-то монегасков!

Конечно, не стоит преувеличивать их численность. Но и преуменьшать тоже ни к чему. Нам их будет не доставать.

Кроме того, заметим один примечательный факт: среди коренных монегасков нет богачей.

Действительно, никто из нас не слыхал о каком-нибудь «богатом уроженце Монако» или, скажем, о «миллионере из монегасков».

А нет в Монако богачей по одной простой причине — потому что там нет бедных. Ведь мечта разбогатеть может прийти в голову разве что только бедняку.

Человек, который появляется на свет, заранее имея свое законное место за одним из игорных столов, где играют в рулетку, человек, которому не надо платить налоги — а в Монако налогов не платят — можно ли придумать существование приятней, чем то, что ждет счастливчика, рожденного в Монако?

Да, это обворожительная оперетта в двух картинках, в двух совершенно разных декорациях — городской и пасторальной. В центре деревни — дворец. В центре города — казино. Во дворце царит князь. В казино — божество по имени Его Величество Случай!

Чтобы добраться до дворца — все дороги карабкаются вверх. Зато они круто спускаются вниз, если вы направляетесь в казино, короче, они вас сами туда доведут.

А теперь поговорим про это самое казино!

Есть города, где строят казино. В Монте-Карло же сперва построили казино, а вокруг него появился город.

И казино это — истинное совершенство.

Правильно сделали, что построили еще одно. А новое — вообще настоящее чудо. Но это не казино — это банк. Линии его поражают удивительной гармонией, оно выглядит надежно, само

собой, красиво, но любить все-таки лучше старое. И когда я говорю, что оно совершенно, то хочу сказать, что оно носит метки своего времени. Нет, у меня и в мыслях нет его омолаживать! И еще менее того мне хотелось бы, чтобы оно так и коптилось дальше. Потому что уверен, оно не заслужило вот так потихоньку ветшать, его нужно подчищать, то и дело подкрашивать, и да будет оно всегда новехоньким, с этими невнятными украшениями и гипсовыми скульптурками, аллегорическими, но лишенными всякого смысла.

И да не поднимется ни у кого рука на этого свидетеля — пусть и вышедшего из моды, но не тронутого временем — прошлых лет, незабываемых и таких прибыльных!

О нем говорят, будто он в стиле Ренессанс. Да, точно так же можно утверждать, что все буфеты Сент-Антуанского предместья в стиле Генриха II. Нет, он не в стиле Ренессанса. Он просто типичный образчик III-ей Республики. Провалиться мне на этом месте!

Его критикуют за архитектуру.

И совершенно незаслуженно.

Что, может, такая архитектура не имеет права на существование?

Всякой вещи свое место.

Монте-Карло — пейзаж не из естественных. А коли это декорация, стало быть, не обойтись без папье-маше.

Краски там фальшивые, переживания искусственные, а богатства эфемерней не придумаешь.

Этот уголок, купающийся в солнечных лучах, которые не более, чем отражение настоящего солнца, может, это и есть Казино нашей мечты.

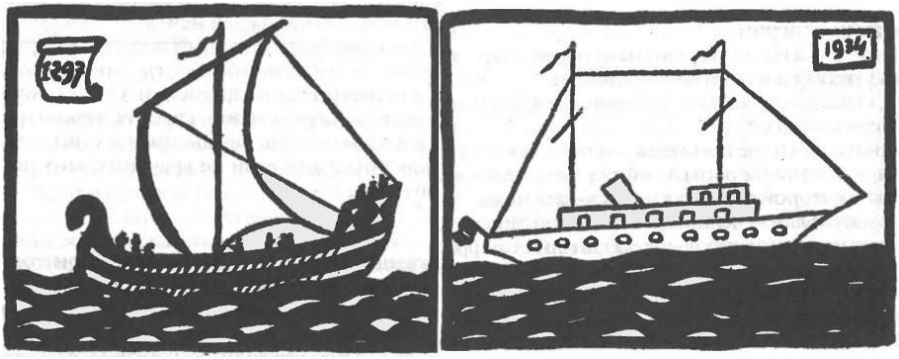
Оно выглядит будто сахарный шедевр кондитерского искусства. У него вид вокзала, где продают билеты только в неизвестном направлении. Оно производит впечатление фешенебельного курорта, этакой модной водолечебницы — а ведь, в сущности, так оно и есть, ибо зачем еще туда ездят, если не врачевать этот поразительный недуг…

Все казино мира открываются для игры только к пяти часам вечера. В Монако же все начинается в десять утра и прекращается не раньше двух следующего дня — и так весь год!

Я приходил туда каждое утро, усаживался на уже раскаленные ступеньки «Гранд-отеля», где служил, и с усмешкой, к которой, однако, примешивалась и известная доля восхищения, наблюдал за пожилыми дамочками — именно они всегда являлись первыми! Терпеливо поджидали, пока откроют двери,

чтобы попроворней занять определенные места, которые казались им счастливыми, ведь накануне они принесли удачу каким-то другим старушенциям!

Этих вряд ли можно было назвать в полном смысле слова игроками. Ведь что ни говори, а настоящая игра все же предполагает хоть малую толику удовольствия, пусть и не всегда, но хоть изредка. А эти — нет, уж они-то не получали от этого ни малейшего наслаждения.



Может, когда-то с ними такое и случалось, лет этак тридцать назад, два-три месяца кряду, но с тех пор — никаких развлечений, это уж как пить дать. Это дамы одержимые, фигуры трагического толка. Они уже даже не пытаются вернуть деньги, какие могли бы проиграть. Впрочем, они их и не проигрывают. Они здесь, их денежки, тут, в кассе. Они доверили их своему Богу, Его Величеству Случаю, он взял на себя управление их капиталами — и в святой простоте своей являются стричь купоны.

Скажем, накануне они потеряли 100 000 франков. При средней прибыли в пять процентов это должно было бы принести им пять тысяч франков ренты, в сущности, двадцатку в день — вот за этим-то они и приходят сюда каждое утро: чтобы выжить, добыть себе на пропитание.

В кармане у каждой припасено по 300–400 франков — ведь поди знай, чего не бывает! — потом усаживаются, и как только запускают шарик, все в работе. Осмотрительные, осторожные, — искушенные! — у каждой своя система, а потому все как одна уверены, будто играют не на авось, а наверняка.

Если они ставят 2 франка на шесть номеров, 19–24, то это не наобум, за кого вы их принимаете. Спросите у них сами, они вам объяснят;

— Так ведь только что восьмерка выпала, стало быть, надо ставить на 19–24!

И если они проигрывают, то изумленно таращат глаза и

чистосердечно, с обезоруживающей откровенностью качают головами:

— Нет, это просто уму непостижимо!

Проходит час за часом. Они часов не наблюдают. Даже час обеда. И почти каждый день, скажем, три дня из четырех, наступает момент, когда они выигрывают франков по двадцать пять-тридцать. Тогда бабули собирают пожитки, и вы сможете видеть, как они покидают игорный зал, огорченные, что приходится уйти, и неизменно ворча себе под нос.

Если вы навострите уши и последуете за ними, непременно услышите, как они шепчут одна другой:

— Эх, вот дура, и что бы мне поставить на дюжину посередке, когда выпало семнадцать!

Положительно, этих старушенций разве что могила исправит.

В те времена, о которых идет рассказ, я, само собой, даже ногой не ступал в эти игорные залы. И по двум причинам: во-первых, я был несовершеннолетним, а во-вторых, официальным служащим Княжества. Между тем решение уже было принято, я был уверен: только полный придурок может рисковать своими деньгами этаким манером.

И все, что я видел, что слышал вокруг, лишь снова и снова утверждало меня в этом мнении.

Ах, сколько пикантных анекдотов, и какого назидательного свойства!

Однако ничто не произвело на меня такого впечатления, как одна на первый взгляд малозначительная деталь, о которой собираюсь рассказать ниже.

Франсуа Блан — человек, основавший Монте-Карло — нажил на этом деле больше 800 миллионов франков. Так вот, все дни напролет он проводил у себя в кабинете, следя за исходом всех игр за каждым из столов, о чем его оповещали час за часом.

И чем же он там занимался, у себя в кабинете?

Подсчитывал барыши? Не угадали!

Он раскладывал пасьянсы!

Да, этот человек, о котором говорили: «Выпадет Красный или Черный, все равно в выигрыше останется Белый![1]», — этот человек, который давал поиграть в рулетку всему миру, проводил время, интересуясь у Судьбы, благосклонен ли к нему Его Величество Случай!

Однажды, когда один из служащих казино сообщил ему, что великий князь Константин вот уже час выигрывает в «тридцать-и-сорок» больше трехсот тысяч франков, он поинтересовался:

— Он стоит или сидит?

— Стоит.

— Постарайтесь сделать так, чтобы он сел. И он проиграет все, что выиграл.

Он знал: чтобы уйти победителем, надо продержаться стоя.

Уникальное место на свете, где отменили смерть — ибо в Монте-Карло ни разу не видели ни единого покойника.

(Должно быть, их там предают земле по ночам, дабы не огорчать еще живых.)

Восхитительное место, где, и вправду, живут, питаясь чужими иллюзиями!

Удивительная точка земного шара, где не найдешь и сотни метров вспаханной земли.

Да и где там, черт побери, репу-то сажать, если куда ни кинешь взгляд — все сплошь гостиницы да отели!

И есть среди них такие большие, по-настоящему огромные, что граница проходит прямо между левым и правым крылом здания.

Так что, если вас вдруг в один прекрасный день вздумают выслать из Монако, просто перейдите из одного гостиничного номера в другой — вот и все дела.

Именно в Монте-Карло мне случилось впервые в жизни заниматься любовью.

Она была графиня. Уже потом до меня дошло, что дамочка, похоже, была не первой свежести.

Жила она в Монако в одиночестве, с пяти до семи играла в рулетку и занимала в отеле спальню с гостиной, сразу два номера, 107-й и 109-й.

Ужинала она в восемь, всегда за одним и тем же столиком, ела мало, но за каждой трапезой пропускала бутылочку шампанского. Сразу после ужина поднималась к себе. В те времена я подвизался лифтером. Однажды вечером, поднявшись на свой этаж, она дала мне пять франков, целую пятифранковую монету — но не бросила небрежно, этак с кончиков пальцев. А вложила прямо в ладонь и еще прижала, да так сильно, что мне почти больно стало. Будто на звонок нажимала! Пять франков чаевых, в 1898 году — это было просто уму непостижимо, и я тут же засунул другую руку в карман, нашаривая монетки, чтобы дать сдачи.

Графиня

— Нет-нет, это все вам, — остановила она меня.
Назавтра она сделала то же самое.
А на третий вечер, выходя из лифта, сказала:
— У меня нет при себе мелочи, зайдемте ко мне.

Я последовал за ней. Она вошла. Я остался на пороге. Она обернулась.

— Можете войти, — пригласила она.

Я вошел. Она посмотрела на меня, и я увидел, как меж пальцев у нее блеснул двадцатифранковый луидор. Она протянула его мне, и тут, ясное дело, у меня уже не оставалось никаких сомнений, чего ей было нужно. Но повторяю, мне тогда было семнадцать, и я был девственником. Тем не менее я уже готов было броситься на нее, как тут вдруг в душу мне закралось подозрение: «А вдруг я ошибаюсь? А что, если она хочет вовсе не того? Еще закричит, звонить начнет, прислугу вызовет?..»

Риск немалый. Выбор трудней не придумаешь.

Для начала просто наброситься на дамочку — легко сказать, и еще легче сделать. Ладно, набросился, обхватил, а дальше-то что? Ясное дело, повалить в кровать. Так-то оно так, да только вся загвоздка в том, что такие вещи хорошо получаются, и даже получаются очень хорошо, когда их делаешь во второй раз. Но навряд ли в первый, так, во всяком случае, мне казалось…

Так что же делать? Отказаться от двадцати франков?

Тоже не лучше, это все равно, что сказать ей: «Да нет, вы мне не по вкусу!»

И тогда, ей-богу, я взял ее луидор, пробормотал что-то нечленораздельное и тут же смылся.

На следующий день, когда она, отужинав, снова появилась в лифте, я поздоровался, но глаз поднять так и не посмел. На ее этаже почтительно посторонился, уступая ей дорогу, потом тихонечко закрыл решетку и, пока спускался, будто в преисподнюю проваливался, чувствовал себя Мефистофелем, когда тот в ад возвращался, прямо видел, как она стоит и презрительно пожимает плечиками. Тут-то во мне кровь и взыграла. Я нажал кнопку, прервав свое позорное падение, и снова поднялся к ней. Пулей выскочил из лифта и, не говоря ни слова, с лихорадочной поспешностью повел ее к ней в спальню, прямо будто за руку тащил.

Мы бок о бок шагали по коридору, учащенно дыша, аж ноздри раздувались, не глядя друг на дружку, уставившись куда-то вперед, будто вот-вот готовы были наброситься друг на друга с кулаками. Домчавшись до ее двери, я почти силком вырвал у нее ключ, ибо дамочка вся дрожала, предвкушая наслаждение, и никак не могла попасть в замочную скважину.

Едва затворив за собой дверь, я тут же повалил ее на постель и уже больше не тревожился, получится у меня или нет. Теперь мною двигал инстинкт.

Через пару-тройку минут я потерял девственность — а она

обрела радость жизни.

Назавтра она подарила мне золотую цепочку для часов. Я сразу все смекнул и удвоил рвение.

Два дня спустя у меня были и часы.

Это продолжалось три недели, через день.

Судя по всему, ей было лет пятьдесят. Но, повторяю, понял я это много позже. А поначалу видел только ее соблазнительный макияж, волны белокурых волос, ее туалеты, бесчисленные и один элегантней другого, да драгоценности, огромные безделушки, которыми она щедро унизывала руки, запястья и уши.

На шее она носила легкие газовые шарфики. И правильно делала. Однако снимала их, когда мы оставались наедине. И напрасно.

Накануне отъезда она дала мне тысячу франков.

Вы скажете, мне следовало было бы отказаться от этакой суммы. Такая мысль и мне тоже пришла в голову — но как пришла, так сразу и вышла. Поступив таким образом, я мог бы ее обидеть, ведь я понимал, как важно было ей блюсти между нами дистанцию. Само собой, не во всем. Но, по ее мнению, в самом важном. И уверен, отказаться от денег, которые она дала мне как гонорар за услуги, было бы с моей стороны беспардонным панибратством. Это все равно что дать ей понять, будто мы на равной ноге. Ведь все, чем мы с ней занимались, она делала только для собственного удовольствия, ничуть не заботясь о моем. Если разобраться, она вызывала меня, как вызывают педикюршу или, скажем, парикмахера — для определенных услуг, по конкретным надобностям. Она была довольна моими услугами, и плевать ей было, получал ли я при этом удовольствие или нет.

Кстати, минуту спустя я убедился в своих догадках: когда мы прощались, она сделала вид, будто не заметила руки, которую я счел своим долгом ей протянуть.

Глава седьмая
Ангулем

В двадцать один год я был призван под знамена.

Меня определили в артиллерию, и три года я прослужил в Ангулеме.

Вообще-то Ангулем не такой уж скверный городишко — но три года Ангулема, это уже перебор.

И пусть не врут, будто можно помереть со скуки. Это все выдумки. Если бы можно было умереть со скуки, я бы протянул ноги в Ангулеме.

Время текло капля за каплей, как всегда течет потерянное время. И словно это было вчера, помню, как, грустный и праздный, шатался по карабкающимся вверх улочкам, всегда карабкающимся и только вверх. И все-таки, раз уж я по ним карабкался, иногда случалось и спускаться. Это уж закон природы. Однако в воспоминаниях я вижу себя только карабкающимся вверх.

Знаю-знаю, можно прожить всю жизнь в Сент-Этьене, в Шато-Тьерри или, скажем, в Бэйе — не говоря уж про какой-нибудь Стефануа, Кастель-Теодорисьен или Бажокасс — но, может, для этого надо там родиться, что ли, или добровольно выбрать эти городишки для постоянного места жительства… Другое дело прозябать три долгих года в Ангулеме, не имея к тому ни малейшего желания и зная, что никогда туда больше не вернешься, что сделаешь все, чтобы ноги твоей там больше не было — согласитесь, не очень-то подходящий настрой, чтобы оценить приятности городка, пусть даже самого очаровательного на свете.

И военная служба в Ангулеме не лишена в этом смысле известного символического смысла. Это были тюремные ворота меж двух зубчатых башен.

Вот такое впечатление сохранил я от тех времен.

Конечно, имелось там и нечто вроде кафешантана, этакое полуподпольное заведение, куда мы совершали набеги по вечерам и где из кожи лезли вон, стараясь изображать повес: орали хором в табачном дыму какие-то песенки, щипали за попки официанток, затевали, без всякого, впрочем, повода, всякие мелкие перепалки, и все только ради того, чтобы хоть чуть-чуть оживить обстановку — какие скорбные радости, какое жалкое распутство!

Их было трое — Агата, Мадлен и Рыжуха — а нас сотня!

Три непохожие друг на друга девицы и сотня столь же непохожих друг на друга солдат — по очереди!

Да, я сказал, непохожие друг на друга, и тем не менее это были мамаша и две дочки, эти три девицы.

Рыжуха была мамаша.

Папаша, супруг, подвизался в заведении пианистом. А патроном в кабаке был брат пианиста.

Дружное семейство из пяти человек, убежденных, что добропорядочней их в мире не сыскать.

Агата с Мадлен просто боготворили мамашу и имели весьма своеобразное представление о дочернем долге. Если кто-то из нас многократно и по несколько раз кряду отдавал предпочтение одной из них, та непременно замечала настойчивому поклоннику:

— Ты уж, пожалуйста, в следующий раз мамочку возьми, договорились?

По прошествии шести месяцев, горя желанием развлечься и хоть как-то убить время, я попросился поработать в конторе начальства. Разрешение было выдано без всяких осложнений. Почерк у меня был хуже некуда, зато я с удивлением обнаружил, что наделен незаурядными способностями к арифметике.

Мне впервые представился случай выявить в себе эти таланты.

Конечно, я не вообразил себя великим математиком, однако что правда то правда, у меня действительно дар проводить в уме изрядное количество арифметических действий, пусть каждое само по себе не такое уж сложное, но зато с быстротой, какую не часто встретишь.

И этот дар открыл передо мной новые горизонты.

Глава восьмая
Монте-Карло

Отбыв военную повинность, я вернулся в Монте-Карло, принял подданство княжества Монако, стал монегаском и поступил в школу крупье.

Мои способности и неподдельное рвение скоро заставили обратить на меня внимание. Я схватывал все на лету, блестяще выдержал экзамен — и пару-тройку месяцев спустя был принят крупье на столик под номером четыре, где дебютировал как настоящий мастер: первый брошенный мною шарик попал на зеро!

Быть крупье — это не просто синекура, это настоящее ремесло, и пусть не думают, будто все это проще простого.

Управляться с шариком и колесом требует такой сноровки, такой ловкости рук, какую не приобретешь, пока с тебя три пота не сойдет. А когда доходит дело до выплаты выигрышей, то тут уж никак не обойтись без особой хватки, безошибочного чутья и даже, если угодно, известной доли плутовства — и я недалек от мысли, что все эти качества передаются в княжестве по наследству.

Странное ремесло, что и говорить, но не такое уж утомительное, как может показаться на первый взгляд, в сущности, не слишком однообразное и — конечно, зависит, как посмотреть — временами даже довольно увлекательное.

Давно известно, что есть только два способа заниматься своим ремеслом: с удовольствием или по необходимости. Так вот, если вы ощущаете себя не каким-то ходячим арифмометром, а чутким проводником воли Судьбы, все сразу же предстает совершенно в ином свете.

Само собой, не в ваших слабых силах противостоять ее магическим замыслам, что вовсе не мешает вам проявлять живой интерес к перипетиям игры, где удача отнюдь не всегда на стороне того, кто держит банк.

Конечно, если смотреть в долгосрочной перспективе, в выигрыше всегда банкомет, однако и он нередко оказывается в весьма затруднительном положении — во всяком случае, куда чаще, чем принято считать.

И такое случалось бы еще чаще, если бы игроки целиком полагались на удачу и не пытались с упорством, достойным лучшего применения, противодействовать решениям, *«уже принятым»* Его Величеством Случаем, строя свои расчеты на

всяких дурацких теориях вероятностей, над которыми, должно быть, Судьба просто со смеху покатывается.

Иными словами, если бы игроки целиком и полностью доверялись воле «*Случая*», они рисковали бы куда меньше.

Увы, и тут, как и вообще в нашей жизни, ими нередко движет тщеславие, а оно-то чаще всего и оказывается причиной их невзгод.

Ведь банкомет «*всегда*» играет, полагаясь лишь на волю Случая, а раз в конечном счете именно он «***да***» остается в выигрыше — почему бы игрокам не последовать примеру, который приводит к столь успешным результатам?!

Шли годы — а в моей жизни же не происходило ничего примечательного.

Мимолетные приключения… Среди прочих жена одного почтальона. Блондиночка такая, фигурка что надо и крошечные грудки. Каждый вечер она писала мне любовные записочки, изменив почерк — ведь это ее муж доставлял мне их по утрам.

1914-й год.

Франция не признает монаганского гражданства, и мне приходится явиться в свою мобилизационную часть — правда, моя батарея попадает на фронт лишь спустя две недели, 17-го августа 1914 года.

Думаю, вряд ли кто-нибудь оставался на фронте меньше меня. Мы прибыли на линию огня в четыре утра — а в четыре часа одну минуту я уже был ранен в левую коленку!

Боль жуткая. Я потерял сознание, упал, и меня засыпало землей.

Очнулся я уже в лазарете.

Там мне рассказали, что некто по имени Шарбонье спас мне жизнь, раскопав из-под земли и вытащив на собственном горбу. Он тоже ранен — увы, куда серьезней меня. Интересуюсь, где его можно повидать? Отвечают: в данный момент ему как раз ампутируют руку.

Кто он, этот Шарбонье?

Высокий тощий парень, сын меняльщика и капрал из соседней батареи. Вот все, что о нем было известно.

Я увидел его на следующий день. Он лежал на носилках. Его несли. Красивое лицо, бледное как полотно, с узким, заостренным, словно лезвие ножа, носом, оно навсегда запечатлелось в моей памяти. Мне хотелось что-нибудь сказать ему, поблагодарить. Но не успел. А когда снова заговорил об этом, мне ответили, что его эвакуировали в тыл.

Комиссованный по первой статье с военной службы, я сохранил легкую хромоту, которая придала благородства моей тяжеловатой крестьянской походке. Короче, и трех месяцев не прошло, как я снова вернулся в Монако и занял свое место крупье.

Глава девятая
Моя жена

Я познакомился с ней в 1917-м.

Жгучая брюнеточка с очень красивыми глазками и соблазнительнейшим ротиком, вернее сказать, самым аппетитным из всех, что мне довелось видеть до тех пор.

Она была мне антипатична — и в то же время нравилась. Да-да, именно то, что притягивало меня в ней, одновременно отталкивало и внушало отвращение. Феномен притяжения, должно быть, относящийся к области физики. Правда, ничего не смысля в физической науке, не могу связывать это ни с чем, кроме особенностей физиологического толка.

Мне и раньше приходилось сталкиваться с этим явлением. Есть люди, которые при первой же встрече заставляют вас сразу отпрянуть назад. Но лучше не терять бдительности — или, вернее, довериться первому впечатлению! — ибо этот прыжок назад порой оказывается лишь разбегом, чтобы попроворней броситься вперед.

Короче, этой женщине, которую, кстати, я никогда не любил, суждено было сыграть в моей жизни роль хоть и мимолетную, но провиденческую и зловредную.

Я примечал ее не один раз.

Можно ли было не почувствовать, когда она минуту за минутой не спускала с меня пристального взгляда?

Обычно она стояла неподвижно, облокотившись на высокую спинку стула банкомета — и не начинала играть, пока не приходил мой черед метать шар. Так что я довольно быстро понял, что этот безучастный взгляд, чья пронзительная пристальность так волновала и смущала меня, предназначалась скорее крупье, чем мужчине.

Она терпеливо поджидала своего часа, и стоило ей, наконец, услыхать вещую фразу: «Делайте ставки, господа!» — как она тут же кидала мне свои шесть луидоров, которые, должно быть, уже битый час буквально жгли ей руки, ибо, когда я брал их у нее, они были горячими — обжигающе горячими и влажными оттого, что слишком долго оставались в ее лихорадочной от нетерпения ладошке.

И бросая деньги, произносила:

— «Тьер»…

Других ставок она никогда не делала.

Это нельзя назвать системой. Просто манера, весьма, кстати,

распространенная и не лишенная известного смысла, ставить сразу на двенадцать чисел, которые соседствуют на колесе и соединены на зеленом сукне игорного стола.

Похоже, особых капиталов у нее не было, и нельзя сказать, чтобы ей как-то особенно везло или не везло, порой случалось за день проиграть — или выиграть — луидоров пятьдесят, не больше.

Это была одна из тех женщин, каких немало, азартные игроки в душе, они приезжали в Монако с тремя десятками тысячефранковых купюр в сумочках и с надеждой за четыре месяца усердного труда впятеро увеличить свой капитал. Из которых после трех недель в казино оставалось разве что на билет второго класса, чтобы добраться до Пуатье, Карпантра или Парижа.

PAIR
IMPAIR
MANQUE
PASSE
0

Тьер (треть колеса)

В тот вечер, проиграв девять раз кряду, она взбунтовалась против злого рока, чьим олицетворением, нетрудно догадаться, выступал в ее глазах я сам. Ей бы при таком отчаянном невезении взять да и прекратить игру, но нет, вместо этого бедолага завелась, закусила удила и сперва удвоила, а потом утроила ставку. А когда я позволил себе укоризненным, но вполне доброжелательным взглядом выразить свое отношение к ее безрассудству, она ответила мне на редкость красноречивой гримасой.

— Вместо того, чтобы давать мне советы, — будто говорила она, — лучше бы закинули шарик на треть колеса!

И провалиться мне на этом месте, если у самого обездоленного из существ человеческих, самого забытого богами и людьми, было когда-нибудь выражение лица, исполненное такого безысходного отчаянья, такой мольбы — и столь выразительного.

Я должен был исправить зло, которое только что причинил ей собственными руками! Ведь она, и вправду, доверила мне свою судьбу. Я был ее спасительным якорем и последней надеждой!

Обо всем об этом говорил, кричал ее взгляд.

Разумеется, не чувствуя ни малейшего сострадания — немало

я уже на таких насмотрелся! — скорее забавляясь, и к тому же чувствуя к ней какое-то странное влечение, я одарил ее понимающей улыбкой, при этом, помнится, для вящей убедительности, еще и заговорщически, многообещающе подмигнул — так, что понять могла только она одна.

И запустил шарик.

Он повертелся, покрутился, еще повертелся — потом замедлил свой бег и, будто вдруг утомившись, возьми да и угоди аккурат в «тьер»!

Помнится, я зарделся прямо до самых ушей.

Что же до восторга этой женщины, то его невозможно было ни описать, ни передать словами — так что к чему пытаться, пустая трата времени…

Однако и на меня все это тоже произвело немалое впечатление — конечно, не такое, как на нее, но все же — и я поспешил снова запустить шарик, дабы избавиться от наваждения или, напротив, утвердиться в своих подозрениях.

И — хотите верьте, хотите нет — шарик снова попадает в треть колеса!

Он останавливался там трижды, пять раз, десять раз кряду.

Мы не осмеливались поднять друг на друга глаза.

Она уже сидела. Должно быть, ноги затряслись, как и руки. Теперь она играла стофранковыми монетами — и поскольку шарики неизменно «попадали куда нужно», перед ней уже лежало одиннадцать тысяч франков.

Она сыграла еще пару раз — нарочно, чтобы усыпить подозрения, заранее зная, что проиграет и, возможно, даже желая того. Она и в самом деле проиграла — потом поднялась и исчезла, торопливо, даже не взглянув в мою сторону.

Банкомет ничего не заметил: повторные ставки на «тьер» никогда не вызывали у игроков таких бурных взрывов недоверия, как на «17», «32» или «зеро», если на них ставили хотя бы дважды кряду.

Что же произошло?

Нет, но что же *«на самом деле»* произошло?

Конечно, мои намерения не вызывали ни малейших сомнений. Пусть так. Но вправе ли я отсюда сделать вывод, что…

Ответа я так и не нашел — однако от этих мыслей не смог ни на минуту сомкнуть глаз, так и провел всю ночь без сна.

Этот трюк — или чудо? — повторится ли он завтра?

Да и дамочка-то, вернется ли она снова? Может, уже неделю только и мечтала выиграть денежки, которые я помог ей положить в карман? Может, ее уже и след простыл?

Но нет, никуда она не делась, и назавтра все повторилось

вновь.

В тот вечер я пришел к выводу, что произошло чудо, ибо заметил, что в отсутствие этой дамочки у меня никак не получается по своей воле послать шарик ни в один сектор колеса, какой ни выбери. Даже примерно, и то не удавалось. Стало быть, между ней и мною было что-то необъяснимое, чему я не знал названия, но чем не мог распоряжаться ни один из нас по отдельности — это действовало только тогда, когда наши с ней желания совпадали. И это что-то необъяснимое, я мог дать ему любое название, какое захочу, и назвал — чудом. Но у меня не было ни малейшего намерения впутывать в эту авантюру Господа Бога или возлагать на него хоть какую-то ответственность за это явление, скажем, весьма сомнительного, если не сказать преступного толка — а потому вполне простодушно приписал это чудо уникальному физическому влиянию, которое имела на меня эта женщина. Это она была головой — а я рукой. А стало быть, в моральном плане моя вина была куда меньше, чем ее. Но поскольку, с другой стороны, рисковал я куда больше нее, то мне казалось вполне справедливым по-братски делить грядущие барыши, как, впрочем, и уже полученные тоже — почему бы и нет?

С чего это я должен обогащать эту незнакомку?

Ну уж дудки!

Стало быть, нам надо срочно договориться, и чем скорее, тем лучше.

Так-то оно так — да только вот загвоздка: как его заключить, это самое соглашение? И в каком виде?

Договор подписать, что ли?

Но можно ли ей доверять, этой дамочке — помимо игры?

И потом, какую ценность перед законом будет иметь этот договор, предметом которого является дележ награбленного?

Ах, ну и ночку же я еще провел!

Правда, на сей раз мне удалось поспать. Недолго. Ровно столько, чтобы увидеть сон, в котором белые шарики рулетки были не белыми, а серыми. И их было много-премного. Они гонялись друг за дружкой по колесу. Мне казалось, я узнал их. Стало быть, я их когда-то уже видел?

Да так оно и было, это были мои восемь су на шарики, это они вернулись ко мне во сне, это они все еще вертелись у меня в голове.

И проснулся я с готовым решением.

Существовал только один-единственный договор между нами, нею и мной, который бы обеспечил мне полную безопасность — во всех отношениях.

В тот же вечер я подстерег ее, пошел за ней следом, догнал, потом, уведя подальше от нескромных ушей, познакомился. Разговор получился недолгим — короткие, отрывистые фразы, только по существу. Хочешь, бери, не хочешь, иди. Тут же по-быстрому было заключено тайное соглашение, в деталях оговорены все условия — и двенадцать дней спустя, в мэрии Сен-Мартэн-де-Везюби, я сочетался законным браком на условиях общего владения имуществом с Генриеттой Гертрудой Блед, разведенной, бывшей супругой какого-то болгарского полковника.

Я попросил двухнедельный отпуск, который и был мне предоставлен. Эти две недели мы провели в одной деревенской гостинице, в пятидесяти километрах от Монако, целиком посвятив наш медовый месяц разработке подробнейшего плана ставок на «тьер». Плана разумного, основанного на расчете и здравом смысле, который сулил нам после полуторамесячных трудов чистый куш в миллион семьсот тысяч франков наличными.

Мы с ней назубок выучили, как нам надлежало действовать, ведь у нас и проигрыши тоже были предусмотрены — надо же как-то усыпить бдительность соглядатаев. При малейшем промахе с ее — как, впрочем, и с моей — стороны мы могли оказаться не просто в щекотливой, а прямо-таки в безнадежной ситуации.

Наш план, если мне не изменяет память, был таков: два выигрыша, один проигрыш, три очень крупных выигрыша, потом выигрыш незначительный, и под конец довольно крупный проигрыш — после чего все начиналось с начала.

Наш совместный капитал составлял тридцать восемь тысяч франков.

Моя жена

На третий день по возвращении из свадебного путешествия я с бьющимся сердцем снова занял свое место за рулеткой — и бросил шарик…

И НАЧИНАЯ С ЭТОГО МОМЕНТА МНЕ БОЛЬШЕ ТАК НИ РАЗУ И НЕ УДАЛОСЬ ОТПРАВИТЬ ЕГО В «ТЬЕР»!!!

Его словно заколдовали!

У меня выходило «32», «3», «26», «15», «19» — да-да, я помимо своей воли то и дело попадал в номера по соседству с «зеро» — но мне никакими силами не удавалось закинуть его в сектор «тьер»!

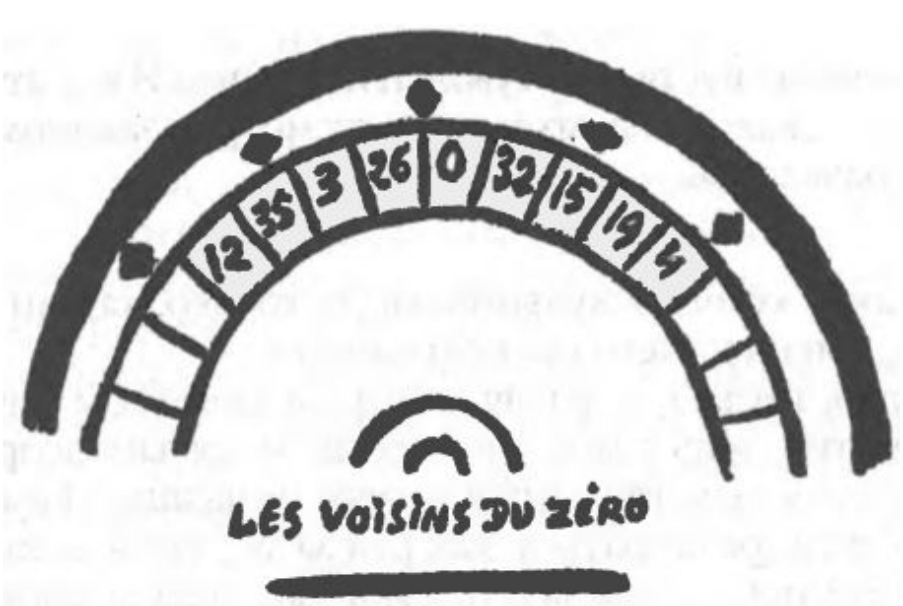
Мне казалось, я схожу с ума!

А она так и не решилась сменить тактику, в точности следовала нашему плану, настырно продолжая ставить на «тьер» — и наш общий капитал сошел на нет, растаял, как свеча, будто его и вовсе не было!

И мне приходилось своими собственными руками отгребать наши денежки!

Трагические минуты!

И при всем при том я не мог подать ей ни единого знака, чувствовал, что за мной следят. Так оно и было на самом деле, ведь мое отсутствие не могло не вызвать подозрений.



Соседи зеро

Это был какой-то кошмар — и он все продолжался и продолжался!

«12»! «35»! «3»! «26»!

«Зеро»!

«Зеро»!

«Зеро»!

«Зеро»!

Выкинуть время от времени «зеро», это хороший тон, но когда он выходит трижды кряду — тут уж не до шуток!

А я только что выкинул его четыре раза подряд!

И все только на него и ставили — все, кроме нас, ибо у нее

уже не оставалось ни сантима!

«32»!

«Зеро»!

«26»!

Я прикладывал неимоверные усилия, чтобы помешать шарику снова угодить в этот чертов сектор «зеро», а банкомет уже не сводил с меня округлившихся от ужаса глаз, и во взгляде его сквозила угроза. Но напрасно!

Все игроки, вконец потерявши головы, ставили на соседей «зеро» — и банк был сорван!

Два часа спустя я был уволен из казино. И в кратчайший срок, какой только был предусмотрен законом, мы с ней развелись.

Итак, *я «хотел»* жульничать, да только, как ни старался, у меня ничего *«не получилось»*.

Будь я тогда, и вправду, шулером, никто бы ничего не заметил, ведь в мошенничестве меня заподозрили именно тогда, когда у меня ничего не вышло. И выгнали-то, если разобраться, как раз за то, что я оказался шулером-неудачником и не смог как следует смошенничать.

И какая же по-вашему первая мысль должна была прийти в голову человеку, наказанному за то, что у него не вышло смошенничать?

Мошенничать!

А чего вы еще от него ждали?

Вот так и случилось, что я стал шулером.

Глава десятая
Я — шулер

Начал я скромно.

Думаю, мне были известны все тонкости шулерского мастерства и все способы преуспеть в этом деле. Ведь этому нас, крупье, обучали сами наши патроны. Посудите сами, разве не входило в наши обязанности помогать соглядатаям и сообщать им об игроках, которые пользовались недозволенными приемами? И мне не раз и не два доводилось разоблачать таких шулеров, как в баккара, так и в рулетку…

На свете существует тьма разных способов мошенничества, но лишь три породы шулеров.

Прежде всего есть игроки, которые плутуют — но плутуют они только в игре. Они делают это без всякой системы, непреднамеренно, почти бессознательно, невольно, таким манером, что сразу чувствуется: помимо игры он честен не придерешься.

Есть люди, которые играют нечестно, потому что мошенники по натуре, такими уж появились на свет — и должно быть, уверены, что не настал еще час бороться с природными наклонностями…

Наконец, есть шулеры профессиональные, которые занимаются этим вполне осознанно и организованно.

Эта разновидность — в сущности, единственная, стоящая нашего внимания — в свою очередь подразделяется на три категории: шулер-одиночка, шулер, орудующий вдвоем с напарником, и, наконец, шулер, который входит в целую шулерскую шайку.

Одиночное шулерство имеет солидные преимущества, и, что касается меня, я вне всякого сомнения отдаю предпочтение именно этому виду.

Шулерство на пару сразу открывает перед вами более широкие перспективы, однако в нем таится масса подводных камней и непредвиденных осложнений. Во-первых, дележ навара, вечная тема для склок, и потом, вы полностью зависите от своего напарника, от его умения держать язык за зубами.

Шулерство в шайке, с одной стороны, дает вам надежность, которой тоже не стоит пренебрегать, ибо, помимо навара, где ваша доля зависит от ловкости ваших рук, у вас есть еще твердый фикс, позволяющий вам не думать о хлебе насущном. Хотя, с другой стороны, если вы не входите в пару-тройку главарей, то

обречены без устали суетиться, сновать туда-сюда и выполнять всякие докучливые поручения. Скажем, вчера играть в Остенде, сегодня быть крупье в «Пари-Пляж», а завтра лакеем в Биаррице. Ясное дело, вы никогда не сможете действовать на свой страх и риск и принадлежите этой шайке, будто какая-то часть большого механизма. Вы в ней всего лишь пружинка малая, винтик, который легко заменить — и вполне отдаете себе отчет, как трудно выскочить оттуда по своей воле, не так ли? Вы ведь крепко повязаны общей тайной, которая на самом деле состоит из пары дюжин маленьких секретиков — и всякий, кому придет в голову добровольно отойти от дел, рискует не только испортить себе жизнь, но и потерять ее насовсем.

Я никогда не связывался ни с одной шайкой, а если мне и приходилось шулерствовать на пару, по доброте душевной или, скажем, из корысти, то шел на это крайне редко, всегда опасаясь, что напарник может кинуть или обуть тебя в любую минуту — так что с полным правом могу сказать, что представляю собой идеальный тип шулера-одиночки.

Кто станет спорить, что нет на земле занятия прекрасней и даже, если хотите, прибыльней? Но я могу добавить к этому, что не знаю ремесла увлекательней. Вы ведь одновременно и охотник, и дичь.

Тут хотелось бы кое-что пояснить.

Шулеров частенько путают с обычными жуликами. И это глубочайшее заблуждение.

Воровать — значит отнимать у безупречно честных людей деньги, которые те не вынимали из карманов — а это, согласитесь, достойно всяческого осуждения. Но шулер — это совсем другое, он всего лишь пытается соперничать с предначертаниями Случая и присвоить себе деньги, которые люди, будь то по легкомыслию или из тщеславия, сами выложили на стол с неблаговидной целью нажиться или с тайной надеждой оказаться баловнями судьбы и воспользоваться промахами противника. Цель же шулера — расстроить их честолюбивые замыслы и не просто вмешаться в игру Случая, а самому встать на его место.

Раз я шулер, стало быть, Случай — это я.

Во всяком случае, таково было мое глубокое убеждение в 1917-м.

В те времена к игрокам я относился с глубочайшим презрением. Свидетель против воли, я убедил себя, что, за исключением одного мужчины из двадцати и одной женщины из сорока, все остальные игроки либо жулики, либо дураки — последние, само собой, неизменно оказывались в подавляющем большинстве.

Жулики, садясь за рулетку, обычно даже не успевают показать свою изобретательность, не говоря уж о ловкости рук. Ведь они представляют прямую угрозу интересам заведения в лице банкомета, так что слежка не дремлет и не знает сострадания.

Для вашего сведения сообщаю, что тут есть лишь три-четыре верных способа усыпить бдительность соглядатаев и обвести всех вокруг пальца — и никак не больше.

1. «Коляска», со скромными шансами на успех.

2. Сбор урожая «сироток».

3. Перемещение фишек, которых вы не ставили. Играть в «коляску» можно лишь на смехотворные суммы — так что рискуешь многим, а получаешь в лучшем случае гроши.

Ибо не следует забывать, что за возможность смошенничать трижды кряду, выиграть пару или пять десятков луидоров вы можете поплатиться отлучением от игорных залов, от рулетки на вечные времена.

Я не ошибся, именно «на вечные времена», ибо есть в княжестве Монако дюжина уникальных типов, которые наделены даром даже через десяток лет распознавать физиономии людей, которых видели не более десяти секунд. Их называют «физиономистами». И когда патроны заведения отнимают у вас карточку, вы непременно проходите пред их искушенными очами. Безошибочней любого антропометрического обследования они разглядывают вас в профиль и в фас. И отныне ваш рост и ваши черты навеки запечатлены в их памяти. Вы можете отпустить бороду, можете сбрить ее, если носили прежде, можете приклеить себе усы, нацепить темные очки, намалевать на щеках шрамы — все равно лучше не пытайтесь проникнуть туда снова.

Даже прежде чем узнать вас в лицо, они заметят этот взгляд, слишком застывший или чересчур бегающий, что с головой выдает людей, которые не хотят, чтобы их узнали.

Снимать урожай «сироток» — иначе говоря, присваивать фишки, чьи законные хозяева не вполне отчетливо помнили, их они или нет, столько всего наставили — так вот, сбор этого урожая таит в себе те же опасности, что и незамысловатая, не сулящая большого барыша «коляска». И вдобавок к тому еще требует недюжинной наблюдательности, ведь вам надо угадать в глазах выигравшего то едва заметное сомнение, на котором можно нажиться.

Хочу, чтобы меня правильно поняли.

Предположим, речь идет о фишке, посаженной верхом на 12–15, иначе говоря, прямо на линии между номером «12» и номером «15». Выпадает «15», и тот, кто на него поставил, выигрывает в семнадцать раз больше своей ставки. Мгновенье спустя крупье, оплачивающий выигрыши, спрашивает:

— Это чья фишка, верхом на 12–15?

Если законный владелец не спешит с ответом, делает этакий неопределенный жест, мол, дайте припомнить, моя иль не моя, не теряйте ни секунды и говорите:

— Моя.

И тут вам предстоит столкнуться с явлением весьма курьезного свойства. Чем порядочней окажется тот, кого вы собираетесь обокрасть, тем скорей он откажется от своих прав, боясь показаться нечестным в ваших глазах.

Однако случись, что он, не будучи уверен в своей ставке, все же упорствует, требуя оплаты, не сдавайтесь и вы. Ибо и он тоже жулик немногим лучше вас, ведь он не уверен, куда поставил фишку — и к тому же не знает, что вы шулер.

В худшем случае заплатят вам обоим.

Куда интересней, на мой взгляд, перемещать фишки, поставленные другим игроком. Однако если эта уловка и не требует такого знания человеческой психологии, как сбор урожая «сироток», зато здесь нужна по-настоящему виртуозная ловкость рук.

Главное, найти игрока, который действует по своей собственной системе, одного из тех чудаков, что уверены, будто нашли, наконец, верный способ, чтобы сорвать однажды банк. Они заняты своими таинственными расчетами и всегда играют, основываясь на номерах, которые только что выпали. Суетливо ставят по две, три, четыре или по шесть фишек Они ставят их собственноручно, как правило, приподнимаясь при этом — после чего снова погружаются в свои хитроумные комбинации. Наилучший момент протянуть руку и слегка передвинуть одну из их фишек.

Предположим, ваш комбинатор поставил сто франков на

«30». Под предлогом, будто собираетесь поставить пять франков на «32», вы неуловимым движением ладони передвигаете стофранковую фишку с квадратика «30» на квадратик «33». Если выпадет «33», вы получите денежки, а ваш «теоретик» даже не пикнет. Он и ухом не поведет, услыхав, что шарик остановился на номере «33». Для него это пустой звук. А вот случись выпадет «30», тут вам самое время смыться, пусть бедолага сам разбирается.

Однако существует и еще один, четвертый способ занятий такого рода, неизмеримо более интересный, который я особенно рекомендую.

Правда, для него нужен сообщник.

Ваш напарник сидит за столом. А вы стоите напротив. Само собой, вы с ним и словом не обмолвитесь, ни малейшего знака, даже в самом крайнем случае. Шарик запущен.

Он уже крутится. Вы глаз с него не спускаете. В тот самый момент, когда он, скажем, останавливается на номере «17», вы скоренько делаете движение рукой и ставите шесть стофранковых фишек на «17» со словами:

— Двадцать пять луидоров на «17»!

— Ставки сделаны, месье! — возражает крупье.

Вы послушно забираете все фишки назад — но тут наступает черед возмутиться вашему сообщнику:

— Прошу прощенья, месье, но я поставил сто франков на «17»!

Вы быстро пересчитываете свои стофранковые фишки, признаете свою «ошибку» и с извинениями возвращаете одну из

них на «17».

После чего крупье выплачивает вашему сообщнику три с половиной тысячи франков.

Только упаси вас господь повторять этот трюк за одним и тем же столом дважды кряду — обоих тут же выставят вон, и без всяких церемоний.

Другое дело карты, тут игра идет только между партнерами, и поскольку это никак не угрожает интересам заведения, то и надзору куда меньше. Вот уж где перед вами открываются безграничные возможности для шулерства. Я вынужден был сказать: открываются, хотя с тех пор, как взяли моду запаковывать колоду в эти дрянные оболочки, стало совсем невозможно, если, конечно, у вас нет сообщника, тайком запустить в игру то, что называют приплодом — 16 или 18 карт. Эти подготовленные заранее приплоды обеспечивают банкомету четыре выигрыша кряду.

И позвольте порекомендовать вам, только не примите за советы, несколько приемов:

1. Коляска.
2. Оплеуха.
3. Кегли.
4. Деревенская девятка.
5. Наконец, ряды карт одной масти, из которых одна, самая знаменитая, носит название Грозная 705.

Поделюсь с вами также и секретом довольно изощренной разновидности «коляски» — ибо ее можно покатить даже на расстоянии. Вам ведь знакома эта желтенькая круговая сеточка, что ограничивает на столиках для игры в баккара место, предназначенное для игроков. Любая сумма денег, поставленная за пределами этой сетки, превращается в ставку — и стало быть, в подставку… А если они не там, то как бы еще остаются в вашей собственности. А поставь вы ее прямо на сетку, они вроде как наполовину там, наполовину здесь. Если вы делаете ставку таким манером — все равно, фишками или ассигнациями — то по правилам должны произнести: «Половину суммы — или фишки». Но поскольку это и так понятно, то можно и промолчать.

Вы сидите с сигаретой в зубах, а перед вами пара-тройка свернутых вчетверо тысячефранковых ассигнаций. Берете одну из них и, вместо того, чтобы положить ее на стол плашмя, этак небрежно вешаете верхом на желтую сетку, будто острая крыша на домике.

Банкомет раздает карты. Если он выигрывает, то, само собой, вы проигрываете свои пятьсот франков Но в случае, если проигрывает он, вы выдуваете в сторону своей ассигнации струйку дыма, ибо заблаговременно позаботились набрать в легкие побольше воздуха — и вот она, ваша бумажка, лениво, будто нехотя, вспархивает и приземляется за пределами желтой сетки. А ваша ассигнация, что была поставлена вроде «наполовину», оказалась «выигравшей на все сто». Короче, вы рискуете потерять свои пятьсот франков, зато у вас есть шанс выиграть тысячу.

Никогда бы себе не простил, не поделись я с вами еще одним трюком, коего почитаю себя смиренным изобретателем и который имеет то преимущество, что сулит вам немалый куш, не подвергая вас ни малейшему риску. Вы кладете перед собой отполированный до блеска золотой портсигар, над которым, будучи банкометом, словно над зеркалом проносите две карты, предназначенные для понтера. И теперь, зная, что это за карты, можете сорвать шестерку или так и остаться на четверке. Вот вам новые возможности, на использовании которых не беру на себя смелость настаивать.

Хотя раз уж нынче выдался такой вечер, что меня потянуло на откровения, должен признаться, что если мне и удалось сколотить себе шулерством целое состояние, то только благодаря тому, что упорным трудом достиг ловкости рук не хуже циркового фокусника. Что позволило мне от души отдаться своему греховному промыслу, ни разу не совершив неосторожности повторять трюк более одного-двух раз за вечер, не проделывая его два дня кряду в одном и том же городе и никогда не мелочиться, ставя суммы, которые бы не стоили свеч.

И вот как я все это проделывал.

В рукавах своего смокинга, специально сшитого для этих целей, я прятал четыре девятки, а с ними еще полено. Поленом мы называем десятку или какую-нибудь картинку. Потом, переходя от стола к столу, я выслеживал банк в пару десятков тысяч франков. И ставил — всегда стоя. Причем, самым что ни есть изысканным манером. Если я выигрывал, то клал себе в карман тысяч двадцать франков, не меньше. Если же проигрывал,

платил, сколько с меня причиталось, цедя сквозь зубы: «Играю дальше». И вот тут-то, убедивши банкомета в своей добропорядочности, я мог позволить себе подменить две сданные мне карты теми, что были припасены у меня загодя.

Я был шулером семь лет, с 1917-го до 1924-го — и за эти годы сколотил себе состояние в четыре миллиона франков.

Конечно, не бог весть что — но для меня целое богатство.

Вы спросите, а как складывалась моя частная жизнь?

Безупречно, другого слова не сыщешь.

Помимо азартных игр, ни разу не надул никого ни на сантим и, Бог свидетель, очень этим горжусь.

Постоянная опасность оказаться за решеткой лишила меня радости создать семейный очаг. Я поклялся себе, что никогда не заставлю ни в чем не повинную женщину или детей, которые могли бы появиться на свет, краснеть от стыда, признавая меня мужем и отцом. Я сдержал свою клятву — и теперь не устаю благодарить судьбу, что у меня хватило на это духу.

Мне случалось вращаться в разных кругах — и в высшем свете, и на самом низу. Честных мужчин везде не густо, а уж женщин порядочных и вовсе с огнем не сыскать. Вспомнить хотя бы эти незабываемые партии в покер — ах, вот уж где есть что рассказать!

Попробуйте посадить за один и тот же обтянутый зеленым суконцем стол политика, юношу из хорошей семьи, молодящуюся дамочку и профессионального шулера — и не исключено, что через час-другой шулер ваш останется без гроша за душой!

Хотите, чтобы я рассказал вам про своих подружек?

Ах, все они были как две капли воды похожи друг на дружку, так что описать одну все равно что описать всех скопом.

Я говорю описать — потому что перечесть их было бы весьма затруднительно!

Одно могу сказать наверняка: ни с одной из них мне и в голову не приходило откровенничать насчет истинного источника своих доходов.

Данная мне от природы способность сочинять всякие немыслимые истории оттачивалась, таким образом, на этих подружках-однодневках.

Мне даже случалось неоднократно познавать их — да простят меня за это вульгарное выражение — не будучи узнанным ими ни разу. Ведь за семь лет я пять раз менял гражданство, четырнадцать раз имя и девять раз внешность. Я был русским, англичанином, немцем, испанцем, армянином. Был герцогом, маркизом, полковником, доктором, промышленником, отставным

министром. Каких только причесок я ни делал, какие бороды ни отпускал, каких причудливых усов ни носил.

И коли уж сегодня я говорю все как есть, то поделюсь и своей тайной, иначе говоря, почему меня так и не удалось взять с поличным по шулерскому делу, почему у меня ни разу не было серьезных неприятностей.

Весь секрет в разнообразных обличьях, какие я принимал, всевозможных фальшивых паспортах, какие заимствовал, — и пользовался ими с единственной целью: направить по ложному следу полицейских ищеек.

Прекрасно зная, что люди по-настоящему *«видят»* вас лишь тогда, когда вы пытаетесь скрыться, я изо всех сил старался выставить напоказ, буквально мозолил им глаза, заставляя запомнить все *«свои»* обличья до единой черточки — за исключением тех, что даны мне от природы, кроме моей собственной внешности — и ни разу не занимался шулерством иначе, как со своим истинным лицом и под своим настоящим именем.

И вот как я все это проделывал.

Будь то в Виши, в Каннах или где-нибудь еще, свой первый выход в игорный зал я совершал, прикрыв голову безукоризненным париком и украсив физиономию парой восхитительных усов — и в таком виде слонялся от стола к столу с бегающим глазками мошенника, явно замышлявшего нечто предосудительное. Меня тут же замечали и держали под неусыпным наблюдением. Порой приходилось ломать эту комедию добрый час — после чего я внезапно покидал игорный зал.

Потом, минут через десять, разгримировавшись, освободившись от парика, накладных усов и прочих причиндалов, я возвращался туда в своем нормальном обличьи, и уж тут наконец мог «работать» в полной безопасности.

Глава последняя
Конец одного шулера

Однажды вечером в Экс-ле-Бэн вхожу я часам к одиннадцати в игорный зал, а в рукавах у меня полным-полно червонных, пиковых, трефовых и бубновых девяток.

Случилось это десятого июля 1924 года.

Роковой, незабывамый день!

За два дня до этого я «выиграл» в Эвиане пятьдесят тысяч франков и в тот вечер был исполнен решимости удвоить куш.

Народу — яблоку негде упасть. Духота, дышать нечем. Игроки возбуждены, на взводе, в воздухе будто грозой пахнет. Короче, обстановка лучше не придумаешь.

Слоняюсь с сигаретой в зубах от стола к столу, руки в брюки, ушки на макушке, вроде бы никуда не гляжу, но все вижу и ни на минуту не спускаю глаз с соглядатаев. На самом же деле пытаюсь высмотреть, где играют всерьез, на сумму, которая бы соответствовала моим честолюбивым замыслам.

Пару минут спустя слышу у себя за спиной:

— Банк тысячу двести луидоров!

Боком проскальзываю меж двух дородных дам и заявляю:

— Иду ва-банк.

— Ва-банк! — объявляет крупье.

Лицо человека, который метал банк, было скрыто от меня абажуром, однако я видел, что он сдавал карты левой рукой, как случается порой, когда правая занята каким-то другим делом. Прием, по правде сказать, чреватый весьма опасными последствиями.

«Похоже, мы тут среди своих», — подумал я про себя.

По-быстрому приготовил одну из своих девяток — потом наклонился и увидел долговязого мужчину, тощего, лет сорока от роду, кавалера ордена Почетного легиона, и к тому же однорукого.

— Шарбонье!

Тот самый человек, что спас мне жизнь семнадцатого апреля 1914-года!

Спроси меня кто-нибудь пятью минутами раньше: «Сможешь ли ты узнать в лицо Шарбонье?» — я бы ответил: «Да ни за что на свете». Я ведь и видел-то его всего раз, уж десять лет тому, и в сущности сам не знал, что черты его навсегда запечатлелись в моей памяти.

Стоило мне увидеть его лицо, эти выдающиеся скулы, этот острый, словно лезвие ножа, нос, мне показалось, что это вовсе не он, а скорее воспоминание о нем, которое вдруг возникло у меня перед глазами. Ведь согласитесь, бывают в жизни видения, которые кажутся куда правдоподобней, чем самая реальная действительность.

Кошмарный момент, жуткое мгновение!..

Это был он — никаких сомнений.

Он сегодняшний — и тот, каким был десять лет назад.

Да, передо мной был он, мой спаситель — а я уже успел передернуть карты. И теперь ничего не поделаешь: у меня в руках девятка, мне придется бить девяткой — и я бью девяткой.

— Игра!

У него тоже оказалась девятка.

Какое счастье!

— Вы по-прежнему настаиваете, что идете ва-банк? — спрашивает крупье.

— Нет-нет! — торопливо возражаю я.

Я сказал «нет-нет», повторив отрицание таким странным манером, и с такой поспешностью, что все сразу на меня уставились, а Шарбонье, тот даже наклонился, чтобы разглядеть меня поближе.

Ах, эти дивные светлые глаза, что вы устремили на меня тогда, сколько же зла они мне причинили!

Мне захотелось снова сквозь землю провалиться, — как это случилось со мной семнадцатого августа 1914 года — и я невольно взмахнул рукой. Уж не припомню, как именно. Какой-то жест, поспешный, которым, должно быть, я хотел еще раз подтвердить это «нет-нет».

Судя по всему, он не ожидал такого оборота событий, мое поведение явно удивило его и, похоже, даже показалось оскорбительным, ибо он поднял руку, встал и направился в мою сторону.

— Что означает этот жест, месье, и почему, интересно, вы отказались от банка?

— Потому что… вы случайно не месье Шарбонье?

— К вашим услугам, месье.

— Так вот, а я… я тот самый, кому вы спасли жизнь семнадцатого августа 1914-го, вынесли меня на своем горбу… и мысль, что я мог бы вас… у вас… выиграть… в общем, эта мысль была мне отвратительна… более того, просто нестерпима!

Объяснение мое, похоже, показалось ему вполне правдоподобным, а деликатность тронула до глубины души, ибо он протянул мне руку, свою единственную руку, и проговорил:

— Благодарю вас.

И добавил:

— Пойдемте выпьем что-нибудь.

Я почувствовал, как краснею, и впервые в жизни узнал, что такое стыд.

Да, мне было стыдно перед этим человеком — за то, что я был тем, кем стал. Мы с ним вошли в бар, и у меня было такое

чувство, будто все глядели на нас с удивлением. Он рисковал ради меня жизнью, а я теперь компрометирую его своим обществом!

— Как ваше имя?.. Чем вы занимаетесь?.. Вы женаты?

Он буквально осыпал меня градом вопросов, которые следовали один за другим, я отвечал сбивчиво и невпопад, без конца моля его великодушно извинить мое замешательство, которое объяснял волнением от встречи с ним.

Была в нем какая-то неподдельная наивность, которая, и вправду, тронула меня до глубины души.

Он был очарователен, сердечен, прост — и в нем не было ни горечи, ни печали. Впрочем, он ведь и не был калекой. Инвалид войны никогда не чувствует себя калекой. Он не потерял руку — он подарил ее родине.

Единственной рукой, какая ему осталась, он действовал с завидной ловкостью. Мне хотелось бы помочь ему зажечь сигарету, поднести ко рту стакан с выпивкой, вытащить из кармана носовой платок — но он во мне не нуждался.

Он поведал мне о своей жизни — жизни монотонной и достойной, без особых взлетов и падений. Потом заговорил об игре, он говорил о ней долго, с явным воодушевлением.

Говорил как об одном из немногих удовольствий, единственном развлечении, каким может предаваться, не страдая от своего увечья.

— Это единственное место, где я не чувствую себя однoруким!

И я почувствовал, как во мне рождается нежность к этому человеку. Он понял, ему это было приятно, и он улыбнулся от всей души.

Потом вдруг предложил мне:

— А что если нам с вами объединиться?

— Объединиться?…

— Ну да, объединиться. Вы любите игру, я так просто обожаю это занятие, так почему бы нам не играть вместе?

Десять минут спустя мы уже бок о бок сидели за карточным столиком и были напарниками.

Он спас мне жизнь — и теперь ему предстояло вернуть меня к ней вновь!

Да-да, прожженный шулер объединился с порядочным человеком чтобы играть по-честному.

Инспектор из бригады по надзору за карточными играми, который засек меня полчаса назад, когда я делал ставку ва-банк — ибо волнение выдало меня с головой — и, последовав за нами в бар, теперь не спускал с нас глаз. Он был уверен, просто голову

бы дал на отсечение, что мы замышляли что-то недоброе и противозаконное. И я испытывал острую, неведомую мне доныне радость, когда, смеясь ему в лицо, бил восьмерку или девятку.

Нам везло, и в тот вечер мы с Шарбонье выиграли на двоих 19 тысяч 800 франков. Согласитесь, неплохое начало для нашего союза! Пара десятков тысяч франков — прекрасный куш даже для самых заядлых жуликов!

Мы не расставались с ним вплоть до самого последнего дня. И каждый вечер играли сообща — всегда пополам.

Это продлилось семнадцать дней.

Выиграли мы или проиграли на семнадцатый день?

По правде говоря, уже не припомню — потому что в тот вечер произошло событие куда более важное, и оно затмило для меня все остальное.

Что же он сделал из меня, этот человек?

Честного человека?

Лучше того, хуже того: настоящего игрока!

Поначалу-то я и сам не поверил. Говорил про себя: «Чушь какая! Так, кратковременное увлечение, просто из-за того, что он рядом, и ничего больше. Стоит ему исчезнуть, и назавтра все снова будет как прежде».

Но ох, как жестоко я ошибался. Я был уже отравлен — и навсегда.

Невероятная история, такая неожиданная перемена, которая оказалась для меня одновременно и благотворной, и роковой — мой спаситель излечил меня от моего недуга, но взамен заразил своим!

Да-да, за одну ночь и какую-то пару-тройку дней я понял, что такое настоящая азартная игра, и влюбился в это занятие. Прежде я не понимал, что это за штука, презирал, считал позором, жил за ее счет и вот вдруг она предстала в моих глазах в совершенно ином свете. Я уловил ее радости, проникся удовольствием, почувствовал возбуждение и все деньги, что мне удалось сколотить за семь долгих лет шулерства, я просадил за пару-тройку месяцев, играя по-честному!

Мне скажут — просто возвращение к истокам.

Что ж, может, так оно и есть. Все мои автомобили, драгоценности, все картины, особняк — все пошло прахом.

Сегодня у меня уже не осталось ни гроша за душой, и я перебиваюсь с хлеба на воду, работая за тысячу двести франков в месяц — ну-ка угадайте, у кого, ни за что не угадаете — ах, вот уж ирония судьбы — у Гримо, фабриканта игральных карт! Я как раз занимаюсь тем, что запечатываю их в пакетики и

раскладываю в порядке, принятом домом Гримо.

Так вот, в этом самом незыблемом — уж сколько лет! — порядке была одна особенность, которую собираюсь впервые предать гласности.

Возьмите колоду — совсем новенькую колоду — из пятидесяти двух карт. И предложите кому-нибудь сыграть партию в баккара. Разорвите у него на глазах гарантийную бумажку. Потом незаметно положите под низ две верхние карты. Поясняю: две верхние карты окажутся таким образом в самом низу. После чего, если вы банкомет, тотчас же начните играть по правилам: одна карта противнику, одна вам, одна ему, последняя вам — и выигрыш за вами до конца колоды, это уж будьте уверены!

Попробуйте сами!

Я пробовал, так, для забавы — раз сто! — но всегда в одиночестве, как раскладывают пасьянс.

Ибо жульничать, снова стать шулером — для меня теперь это исключено!

Конечно, такая идея приходила мне в голову — и я даже пробовал — но не смог.

И вовсе не из страха, как бы меня не схватили за руку. И не потому, что я стал такой честный. Нет: просто из любви к самой игре.

Если ты игрок, настоящий игрок, ты не можешь быть шулером, грешно тягаться с волей Случая.

Из тысячи двухсот франков своего месячного жалованья я регулярно откладываю три сотни на игру — благоразумно и благоговейно.

МОРАЛЬ

Среди тех, кто не играет в азартные игры, принято считать их порочнейшим занятием, однако, поверьте, на самом деле все обстоит совсем не так уж страшно.

Ведь тем, кто не играет, неведомы, просто недоступны приятные стороны игры. Что касается неприятных — уж мне ли их не знать?.. Слов нет, они таят в себе серьезные опасности, но что, скажите, в нашей жизни безопасно?!

Стало быть, не следует подвергать сомнению то благотворнейшее влияние, какое азартные игры оказывают на наше моральное состояние. Вот взять, например, человека, который только что выиграл тысячу франков — он ведь не ассигнацию тысячефранковую выиграл — нет, он выиграл надежду выиграть во сто крат больше.

Он не просто тысячу франков выиграл — он победил!

Когда проигрываешь тысячу франков — проигрываешь только тысячу франков, ни больше ни меньше. А вот когда их выигрываешь, выигрываешь первые тысячи франков несметного богатства. Тут уж ты можешь пуститься в любые, самые радужные мечты… И какая уверенность, какая вера в себя — разве это не прекрасно?! В любви, в делах, во всем, целые сутки все ему будет по плечу. И вот этот первый проблеск благосостояния, которым он обязан лишь воле Случая — кто знает, а вдруг он, и вправду, приведет к настоящему богатству.

Про азартные игры принято говорить, будто это пагубная страсть.

Что ж, возможно.

Хотя я всегда склонен немного не доверять нравоучительным сентенциям, которым так и не удалось стать поговорками.

Когда я слышу, что всякое излишество достойно осуждения, охотно соглашаюсь. Но коли уж считать пороком любое излишество, то и вовсе чураться игры тоже порок — ведь и это тоже чересчур.

Во-первых, кто это сказал, будто игра — порок?

Не иначе, как скупердяй какой-нибудь.

Посудите сами, мы ежедневно рискуем своим здоровьем, своим счастьем, но сомневаемся, стоит ли поставит на кон содержимое своего кошелька — не означает ли это дорожить деньгами куда больше, чем они того заслуживают?!

«Ах, не „*надо*“ играть в азартные игры!» — восклицают те, кто сроду не пробовал.

Это все равно, что слышать от людей со здоровыми легкими: «Ах, не „*надо*“ болеть туберкулезом!»

Ведь если игра — недуг, то, возможно, это тоже недуг наследственный.

Говорите, азартные игры разоряют?..

И кого же, интересно, они разоряют, эти азартные игры?

Да тех, кто не умеет владеть страстями, или слабонервных. Иными словами, недоумков, слабаков, вечно сомневающихся в себе неудачников — короче, бездарей. Приходилось ли вам слышать, чтобы какой-нибудь выдающийся человек разорился за игорным столиком? Никогда. А ведь большинство незаурядных людей — заядлые игроки. Все, кто разорился из-за игры, рано или поздно нашли бы способ обнищать каким-нибудь другим манером — либо в делах не повезет, либо женщины оберут до нитки…

Ведь согласитесь, коли повсюду развелось столько придурков, почему бы им и среди игроков не затесаться?

Говорите, игра не может быть занятием?..

А что, по-вашему, прикупить компанию вроде «Ройял Датч», чтобы месяц спустя перепродать ее втридорога, занятие более достойное?

Говорите, азартные игры безнравственны?..

И при этом вы поощряете скачки, не осуждаете игры на бирже, хотя и там и тут вряд ли можно сказать, будто все они основаны на чистом везении — это уж не говоря о лотереях, которые к тому же еще и называют национальными!

Говорите, игроки кончают жизнь самоубийством?

Так вот, те, кто кончают счеты с жизнью, на самом деле вовсе никакие не игроки — разве достоин звания настоящего игрока жалкий тип, способный настолько потерять всякую надежду?..

Самоубийцы на почве азартных игр — это, как правило, люди, игравшие в первый — и в последний — раз в жизни, и к тому же ставившие на кон деньги, принадлежавшие не им, а тем, кого они не удосужились заблаговременно оповестить, как намерены ими распорядиться.

Особую нежность питаю я к курортам-водолечебницам, где и в помине нет никаких целебных вод, где никто ни от чего не лечится и где живут исключительно за счет игорного бизнеса. Мне кажется, они как небо и земля отличаются от любых других.

Такое впечатление, будто существование их временно, иллюзорно, ведь, если разобраться, живут они только благодаря Его Величеству Случаю.

Есть водные курорты, само название которых заранее указывает на какую-то часть нашего организма, где не все в порядке: почки, печень, кишечник или, скажем, сердце. Поверьте, у меня и в мыслях нет хулить эти славные городки с целебными источниками — но признаюсь, мне куда больше по душе места, где никаких животворных вод нет и в помине. Если вас и называют «водолечебницами», и если вы терпите такое, то разве что из лицемерия — просто потому, что не хватает смелости произнести вслух восхитительную истину.

Впрочем, между нами говоря, к чему все это лукавство? Не понимаю, зачем вам надо искать какие-то оправдания?

Разве вы ни от чего не исцеляете?

Вы уверены?

Думаете, у нас, ваших пациентов, нет никаких недугов?

А как насчет печалей? Скуки? Забот? Сомнений?

Неужели это только пустые слова?

Неужели нет болезней с таким названием?

Говорят, игра не исцеляет от недугов?

Какое заблуждение!

Она исцеляет от тяги к игре — а ведь только она способна это сделать.

Можно ли требовать большего?!

notes

Примечания

1

Блан в переводе с французского означает Белый. — *Примеч. пер.*